

**А.ШАРДИН**

РОД КНЯЗЕЙ  
ЗАЦЕПИНЫХ,  
ИЛИ ВРЕМЯ  
СТРАСТЕЙ И  
КНЯЗЕЙ. ТОМ 2

Россия державная

А. Шардин

**Род князей Зацепиных, или  
Время страстей и князей. Том 2**

«Public Domain»

1884

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)

**Шардин А.**

Род князей Зацепиных, или Время страстей и князей. Том 2 /  
А. Шардин — «Public Domain», 1884 — (Россия державная)

ISBN 978-5-486-02279-1

А. Шардин – псевдоним русского беллетриста Петра Петровича Сухонина (1821–1884) который, проиграв свое большое состояние в карты, стал управляющим имения в Павловске. Его перу принадлежат несколько крупных исторических романов: «Княжна Владимирская (Тараканова), или Зацепинские капиталы», «На рубеже столетий» и другие. Во второй том этого издания вошли третья и четвертая части романа «Род князей Зацепиных, или Время страстей и казней», в котором на богатом фактическом материале через восприятие князей Зацепиных, прямых потомков Рюрика показана дворцовая жизнь, полная интриг, страстей, переворотов, от регентства герцога Курляндского Бирона, фаворита императрицы Анны Иоанновны, и правительницы России при малолетнем императоре Иване IV Анны Леопольдовны до возведенной на престол гвардией Елизаветы Петровны, дочери Петра Великого, ставшей с 1741 года российской императрицей. Здесь же представлена совсем еще юная великая княгиня Екатерина, в будущем Екатерина Великая.

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-486-02279-1

© Шардин А., 1884  
© Public Domain, 1884

## Содержание

Часть третья	6
I	6
II	21
III	34
IV Отъезд	47
V	56
Конец ознакомительного фрагмента.	59

# **А. Шардин (Петр Петрович Сухонин)**

## **Род князей Зацепиных, или Время страстей и казней Том второй**

### **Часть третья**

#### **I Медвежья охота**

Утро 8 ноября 1740 года было сквернейшее даже для петербургского климата. То моросило, то падал снег. Было холодно и сыро. По Неве шел лед почти сплошными массами; сообщение города с заречными окраинами прекратилось.

Батальон Преображенского полка, вступавший в караул, разделенный на отряды по постам, без обычной церемонии вышел из новых казарм. Он шел на церковь Симеона и Анны, чтобы там разделиться и одному дивизиону занять караул в Летнем дворце, где жил регент империи, герцог Бирон; другому – караул в Адмиралтействе; а двум последним, при знамени, расположиться караулом в Зимнем дворце, где помещался император, шестимесячный ребенок Иоанн III, и его родители, принц Антон и принцесса Анна Брауншвейгские.

Батальон должен был проходить мимо дома Нарышкина, где временно помещался тогда фельдмаршал Миних, подполковник Преображенского полка.

Солдатики шли, неся ружья вольно и ругая, разумеется про себя, петербургскую погоду. Вдруг они увидели, что, несмотря на эту погоду и на раннее утро, фельдмаршал идет с своим адъютантом Манштейном пешком им навстречу.

– Под приклад, караул, стой, отдать честь! – скомандовал ведущий батальон секунд-майор полка Пушкин, согласно действовавшему тогда уставу о полевой и гарнизонной службе. Батальон остановился.

– Во фронт, слушай, на кра-ул! – продолжал командовать Пушкин.

Солдаты исполняли команду, думая про себя: «Куда это черт его спозаранку несет?»

– А нечего сказать, хоть и немец, а молодцом идет. Смотрите, братцы: идет, словно в рожу-то ему ни снег, ни дождь не хлещут! Внимания он не обращает на эту погоду! Сокол, нечего сказать! Хоть бы нашему брату – русскому...

Фельдмаршал подошел к караулу и поздоровался. Он прошел по фронту, останавливаясь и задавая некоторым из солдатиков полушутливые, ласковые вопросы. На снег и дождь он не обращал ни малейшего внимания, будто в самом деле они его не касались. Солдаты даже повеселели, смотря на бодрое, веселое и добродушное лицо фельдмаршала, говорившего и смеявшегося под снегом и дождем так же спокойно, как бы в манеже или у себя в кабинете.

– Хорошо, хорошо, – говорил фельдмаршал, – молодцы! Видно, что службу любите, и служба вас за то любит! Вот теперь вам будет полегче. Герцог приказал шесть полевых батальонов привести, чтобы в его дворце они караул держали.

– Что ж, ваше сиятельство, разве его высококняжеская честь не верит, что мы службу свою справим? А на тяжесть мы еще николи не жаловались! – буркнул один из стоящих при знамени сержантов.

– Ну нет, думать так не следует! – сказал особым тоном фельдмаршал. – Гвардия должна охранять императора, а он только регент и хочет облегчить... А холодно? – вдруг неожиданно сказал он, пожимая плечами.

– Холодно, ваше сиятельство! – отвечали солдаты.

– Не то что в казарме, что я для вас строил; там хорошо, тепло!

– Точно так, ваше сиятельство, покорнейше благодарствуем!

– Да, да! Старался для вас, ребята! А точно холодно, – прибавил он, морщась. – Распорядись, батенька, – сказал он секунд-майору, командовавшему батальоном, – когда будешь мимо меня идти, вели остановиться! А ты распорядись, – продолжал он, обращаясь к адъютанту, – чтобы солдатикам хоть по чарке водки дали поотогреться. Сегодня погода-то такая же, как, помните, ребята, когда мы с вами за Дунаем мерзли! Выпейте-ка за здоровье молодого императора!

– Ради стараться, ваше сиятельство, покорнейше благодарим, – весело отвечали солдаты.

Фельдмаршал улыбнулся своей открытой улыбкой, отмахнулся и пошел далее. Командующий батальоном повел людей к дому Миниха, где солдатам дали по чарке водки и по калачу. Солдаты на походе, разумеется, поминали угощение добрым словом.

– А ведь регент-то, братцы, значит, и впрямь нам не верит, когда полевые полки зовет! – сказал сержант, набивая рот калачом.

– Ну его к черту, эту чухонскую крысу! – отозвался молодой солдатик, обдувая свободную руку. – Он думает – полевые полки против нас пойдут! Шалит! Не таковской народ, чтобы чухляндию стал отстаивать! Скажет матушка цесаревна – скорее нас пришибут!

– Болтай вздор-то! Смотри, чтобы самого на пристрастии секуцией не пришибли!

Солдатик замолчал, озираясь испуганно:

– Я, дядюшка, ничего, я так...

– То-то ничего; думай про себя, а болтать нечего!..

Караулы разошлись, пришли на места, произошла смена, развели часовых, распустили караул. В Летнем дворце караульная комната оказалась нетопленной и холодной; солдаты, понятно, опять стали ругать Бирона, доедая свои калачи.

– Ишь, русские дрова бережет и караулку-то натопить жаль!

Миних между тем воротился к себе и сидел с премьер-майором Семеновского полка генерал-майором графом Степаном Федоровичем Апраксиным.

– Я хоть и сам немец, – говорил Миних, – но, признаюсь, на такое немецкое царство не согласен! Что это такое? Остерман, Остерман и Остерман! Отдаю справедливость его способностям, но несогласен отдать ему все в руки. Притом где же заслуги Бирона? Что такое он сделал государству?

– За Бирона, ваше сиятельство, из гвардии не станет ни один человек. Командир нашего полка, за малолетством государя императора, наш подполковник, его высокопревосходительство генерал-аншеф Андрей Иванович Ушаков хотя и с большим уважением относится к регенту, но, я уверен, пальцем о палец не ударит, чтобы его поддержать.

– Вы думаете, граф? Я, признаюсь, боялся, что ваш старик очень предан Бирону.

– Э, нет, ваше сиятельство! Я не далее как вчера говорил с его адъютантом Власевым. Вы изволите знать, что любимец Андрея Ивановича? Из его слов прямо было видно, что, впрочем, я знал и до него, – что наш страшный генерал говорит:

«Всякая власть от Бога; Бирон – Божье наказание!»

– Бог наказует, Бог и милует, так ли? – спросил Миних.

– Я полагаю, что Андрей Иванович так и смотрит. Скажет: «Воля Божья» – и станет так же усердно оберегать новую власть, как теперь оберегает Бирона. Он скажет: «Рассуждать не наше дело, наше дело – повиновение!»

– Стало быть, по русской поговорке: кто ни поп, тот батька? – с усмешкою проговорил Миних. – И так как немецкий акцент в нем все же слышался, несмотря на то что Миних жил в России уже шестнадцать лет и, в противоположность Бирону, прилагал все усилия к изучению русского языка и с русскими почти всегда говорил по-русски, то поговорка эта на языке Миниха вышла очень смешно; вышло очень похоже на то: кто ни поп, тот патока!

Апраксин улыбнулся, Миних это заметил.

– Что, батенька, – сказал он добродушно. – Выходит, что немец и в могиле сказывается! Ну что ж делать? Мои молдаванцы мне прощали, что нет-нет да и насмешу их каким-нибудь словечком. Они знали, что их фельдмаршал хоть не всегда по-русски говорит, да всегда по-русски делает. Не прячется за шанцами да за их русскими спинами, а сам готов прикрывать их своей немецкой грудью. Ну а здешние-то еще не знают! Ох, не знают! Потому-то я и рассуждаю... Но вы, граф, говорите, что это верно?

– Будьте покойны, ваше сиятельство; у нас ни один человек не пошевелится.

– А измайловцы, – вы как думаете?

– Ну там другое дело! Хоть оно и точно, что солдатики и там не очень за немцев, но все же командиры все, начиная с прапорщика, с самого начала из курляндцев набраны были. Потом, все же ими командует родной брат герцога, и, сказать нечего, полк им доволен!

– Так что я хорошо распорядился, что большую часть полка отправил за реку. Ну, граф, итак – решено! Выберите вы мне из своих молодцов сотни две на случай... Знаете, из таких, что не задумываются; а из моих преображенцев я уже отобрал; да Манштейн и Кенигфельс с караулами, думаю, распорядились, так что он немного найдет себе защитников...

Вошел адъютант фельдмаршала подполковник Манштейн.

– Ну вот, за семеновцев ручается! – сказал Миних своему адъютанту, указывая на Апраксина. – У тебя все ли готово?

– Все, как изволили приказать, ваше сиятельство!

– Ну, так будь же готов и сам, когда я пришлю; только виду не показывай! А в случае неудачи, господа, – хоть, кажется, неудачи не должно быть, но все же следует сказать, – в случае неудачи вы друг друга и не видали; все на меня вали, дескать, фельдмаршал приказания давал, а нам никакого рассуждения иметь не полагалось!

Этимися словами Миних их отпустил и поехал к Бирону.

Но до него еще приехал к Бирону обер-гофмейстер граф Левенвольд. О его приезде доложил дежурный адъютант. Бирон поморщился.

– Верно, опять просьба, – высказал он вслух. – После смерти государыни две награды получил, все мало. Не могу же я всю штатс-контору на одних братьев Левенвольдов отдать! Пусть подождет!

С этим ответом, хотя в весьма вежливой форме, адъютант вышел к Левенвольду.

Левенвольду ответ был не по душе. Он вспомнил, как дружески обратился к нему Бирон во время болезни императрицы, как товарищески и сердечно говорил тогда с ним. «Не прошло и трех недель, а теперь не то, – подумал он. – Совсем не то. Даже не то, что при государыне было! Тогда все же была узда, а теперь, – теперь... Напрасно, напрасно, – не годится в воду плевать, пить захочешь!» – подумал Левенвольд. Но, поморщившись, он только прибавил:

– Доложите его высочеству, что я по весьма важному делу от графа Андрея Ивановича Остермана!

Адъютант доложил. Бирон нахмурился.

– Что бы такое? Ну зови! – сказал он.

Левенвольд вошел.

– Что такого важного? – спросил Бирон, откидываясь на своих герцогских креслах, как властелин перед своим кнехтом.



Левенвольд был далеко не так сдержан, как генерал-аншеф Андрей Иванович Ушаков, и высокомерный прием герцога его очень озадачил. Он покраснел даже – но что же делать? Пока он регент... Притом что там будет, а теперь от него зависит помочь Левенвольду в его тесных делах! Этим рассуждением Левенвольд старался себя успокоить.

– Граф Андрей Иванович, будучи нездоров, поручил мне обратиться к вашему высочеству...

– Граф Андрей Иванович вечно нездоров! Признаюсь, это становится скучно... Я просил графа Андрея Ивановича приготовить мне декларацию для французского посланника. И вот уже третий день жду! – недовольным тоном сказал Бирон.

– Может быть, потому-то граф и поручил мне обратиться к вашему высочеству, прося вашего внимания. Он говорит, что замечает с некоторого времени ваше неудовольствие к нему и какую-то холодность, тогда как он с искреннейшей и низжайшей преданностью готов служить вашему высочеству, как и служил всегда по мере своего умения и разума. А теперь, кроме всех внешних отношений, он был весьма озабочен вопросом о внутреннем укреплении и возвышении самодержавной власти вашего высочества, как регента империи.

От этих слов герцога передернуло. «Что-нибудь да есть, когда с этим присылает Остерман», – подумал он.

– Что же такое? – спуская тон ступенью ниже, спросил герцог.

– Граф Андрей Иванович, рассматривая практическое положение дел, поручил мне доложить вашему высочеству, что в утверждении и укреплении положения вашего высочества он встречает важный противовес и что от удаления такого противовеса зависит...

– То есть кто же это? Принц Антон?

– Никак нет, ваше высочество, есть некто более опасный человек... Доложить об этом граф Андрей Иванович счел своею обязанностью: этот опасный человек – фельдмаршал граф Миних.

При первых словах о внутреннем укреплении и возвышении лицо Бирона вытянулось, и он уже завертелся в креслах. Когда же Левенвольд окончил, то перед ним сидел уже совсем другой человек. Вместо высокомерного и неприступного герцога перед ним сидел искательный, ласковый и пронырливый курляндец, готовый служить и нашим и вашим.

– Э, граф! – сказал в ответ Бирон. – Неужели вы и граф Андрей Иванович думаете, что я это не вижу? Да садитесь же, что вы стоите? Мне давно хотелось поговорить с вами и с Андреем Ивановичем по душам! Мы, немцы, здесь, на чужой стороне, должны держаться дружно; должны друг за друга стоять! А граф Миних точно что гнет как-то на сторону... Да что я с ним сделаю? Изобличить его не в чем; а ведь не могу же я ни с того ни с сего вдруг велеть арестовать фельдмаршала. Садитесь же! Ведь вы обедаете у нас? Герцогиня и так уже мне замечала: что это граф Рейнгольд с самой кончины императрицы у нас только один раз обедал.

– Я всегда в распоряжении вашего высочества, – отвечал Левенвольд, – но полагаю, что вы, выслушав различные соображения, которые граф Андрей Иванович просил меня представить на ваше усмотрение, изволите дать приказание отправиться к нему, тем более что, на его взгляд, дело это крайне нужное и спешное, так как от него зависит спокойствие империи и вашего высочества.

– Так, так, благодарю графа Андрея Ивановича и вас! Разумеется, дело прежде всего! Что же Андрей Иванович говорил вам о Минихе?

– Граф просил вас передать, что почетное назначение, как вашему высочеству небезызвестно, бывает иногда то же, что ссылка. Граф Ягужинский, когда его послали в Берлин...

– Да! Но граф Ягужинский был не фельдмаршал...

– Можно составить предположение о торжественном посольстве к французскому королю...

– Миних не примет звание посла.

– Тогда генерал-губернаторство. Он желал быть генерал-губернатором Малороссии. Если этого будет для него недостаточно, то граф Андрей Иванович находит, что для него можно восстановить гетманство. Этим он, наверное, удовольствуется, особенно если оно будет утверждено наследственным...

– Да! Ему хотелось чего-то в этом роде! Но что скажут русские? Ведь это значит потерять Малороссию!

– Андрей Иванович говорит, что лучше потерять часть, чем рисковать всем! А русские будут довольны, что им на шею не станут сажать хохлов. Духовенство в этом отношении полностью все будет на вашей стороне.

– Будто уже он так опасен?

– Всенепременно, ваше высочество! Хотя в войске его и не любят, но ценят и привыкли слушать. А вот уже сколько дней, как он приглашает к себе отдельных начальников то тех, то других частей. Цесаревна...

– Ну в рассуждении цесаревны я спокоен. Вот принц Антон и принцесса? Вообще безмерное честолюбие Миниха точно опасно! Но, я полагаю, что между преображенцами майор Альбрехт...

– Альбрехта обходят, ваше высочество! Граф фельдмаршал приглашал к себе из преобразенцев Салтыкова, Шипова, Готовцева, из семеновцев – Апраксина, Девьера; из конного полка тоже... Разговоров особых он не ведет, придаться не к чему, но, видимо, выспрашивает, наблюдает. А тут два дня сряду он имел горячий разговор с принцессой. Граф Андрей Иванович полагает, что для безопасности вашего высочества удаление его существенно необходимо.

– Да! Поезжайте к графу Андрею Ивановичу, скажите, что я искренне его благодарю и прошу приготовить все бумаги по его предположению о гетманстве. Быть гетманом он не откажется! Жаль делить так русское царство, да что делать-то, своя рубашка, говорят, к телу ближе!

В это время вошел дежурный адъютант и доложил: его сиятельство фельдмаршал граф Миних!

Бирон и Левенвольд переглянулись.

– Проси! – сказал Бирон.

– Я не к вам! Не хочу отнимать у вашего высочества ваше драгоценное для всех нас время, хотя, разумеется, как и всякий верноподданный, счастлив видеть своего всемилостивейшего регента... но все же не к вам, а к моей прекрасной покровительнице герцогине Бенигне! – говорил весело и с улыбкой Миних, принимая протянутую к нему руку Бирона. – Очень рад встретить вас, граф, у распорядителя судеб наших! – прибавил он, обращаясь к графу Левенвольду и тоже пожимая ему руку. – А я, признаюсь, уже думал, что вы совсем изменили нам и передались на сторону принца Антона. Ну что наш достопочтенный оракул, ваш неизменный друг граф Андрей Иванович, хворает?

– Да, он нездоров! – отвечал Левенвольд, смутившись несколько от напоминания о принце Антоне. Однако ж он сейчас же ободрился, заметив, что Бирон не обратил на замечание Миниха никакого внимания, а, напротив, с полной благодарностью обратился к нему, проговорив – Очень, очень, благодарен вам, мой друг! Поезжайте же и просите графа Андрея Ивановича распорядиться, чтобы не дальше как завтра можно было приступить к делу. Завтра же, надеюсь, я и вам докажу мою признательность. – При этих словах герцога Левенвольд откланялся.

– Жена моя будет рада видеть нашего победоносного фельдмаршала, – продолжал Бирон, обращаясь к Миниху, – нашего героя, от которого, говорят, молодой прусский король до того без ума, что план нашей ставучанской победы приказал нарисовать и повесить у себя над пись-

менным столом. Садитесь, граф, позвольте вашу шляпу и шпагу! И у меня, и у жены моей вы всегда дорогой гость!

– Да и я, ваше высочество, как изволите сами знать, всегда ваш всепокорнейший и всеусерднейший слуга! Я думаю, за то солон прихожусь я вот этим остермановским господчикам, которым ваше регентство стало поперек горла. Им всем так хотелось принца Антона да совета, в котором Остерман бы царил, а принц Антон бы подписывал. Ну да мы с вами давно поняли остермановскую музыку и на их дудке играть не хотим! Но – можно видеть ее высочество, очаровательную герцогиню? Ведь, простите, я сегодня гость надолго! Герцогиня при всякой встрече упрекает меня, что я не приезжаю обедать. Я дал слово исправиться. И вот сегодня мои все обедают у брата, тайного советника барона Христиана Антоновича, а я, по известной всем немецкой экономии, чтобы, как говорят, не разводить огня, отправился к своей милостивой герцогине, чтобы сдержать слово.

– Благодарю, благодарю, и за себя и за жену благодарю, – сказал Бирон и позвонил.

– Доложите герцогине, что его сиятельство господин фельдмаршал желает ее видеть!

– Засвидетельствовать свое высокое уважение и поцеловать ее добрую ручку! – прибавил от себя Миних.

Герцогиня прислала просить. Миних обедал у них и болтал особенно весело, любезничая и ухаживая как за сорокапятилетней рябой герцогиней Бенигной, так и за молоденькой Гедвигой, говоря обоим комплименты, выпрашивая беспрерывно у обеих позволения поцеловать ручку и в то же время любезно подражая молодых принцев.

Обедал еще Новосилыцев, один из самых близких клевретов Бирона. Слушая болтовню и шутки Миниха и видя особую любезность к нему как герцога, так и его жены, он подумал: «Вот тебе на! Я думал, что они враги, и хотел было сегодня кое о чем предупредить герцога, а они такие друзья, что их, кажется, и водой не разольешь!»

Левенвольд между тем прибыл к Остерману и нашел у него принца Антона, отца императора, который приехал к Остерману в наемной карете и задним ходом прошел в кабинет, так что в доме этого никто не знал, и потому на вопрос графа Левенвольда «Никого нет у графа Андрея Ивановича?» – отвечали: «Никого!»

– Ну что? – спросил Остерман, когда Левенвольд вошел. – Вас-то мы и ждем. Удалось ли вам убедить зверя, что для него опасен другой зверь?

– Да! Он просил приготовить! И представьте, в это самое время вдруг этот зверь и приехал.

– Кто? Миних? – в один голос спросили Левенвольда как Остерман, так и принц Антон, с той разницей, что в восклицании первого слышалось как бы удовольствие, – дескать, зверь сам на приманку лезет; а принц Антон при своем восклицании побледнел, думая: не приехал ли он рассказывать Бирону все, что он и его жена, принцесса Анна Леопольдовна, говорили Миниху.

– Да! Он обедает у них! И, кажется, не подозревает, что ему готовится или почетная ссылка, или арест. Однако ж мне показалось, что он на нас будто косится, и даже упрекнул было меня моею преданностью к вашему высочеству, – прибавил Левенвольд, обращаясь к принцу Антону.

– Пусть только примет назначение и уедет, – сказал Остерман. – Без него, ваше высочество, можете надеяться составить себе партию, пока же он тут, мы поневоле должны смотреть ему в руку!

– Герцог просил предположение о гетманстве, если возможно, сегодня же ему приготовить.

– Оно готово! – отвечал Остерман. – После обеда свезите к нему! Я обыкновенно не начинаю говорить о деле прежде, чем все по нему не будет приготовлено.

– Боже мой, только бы он не вздумал рассказывать герцогу о том, что мы говорили, – проговорил принц, с ужасом вспоминая сцену, которую он должен был выдержать в совете.

– Не беспокойтесь, ваше высочество, не расскажет! Он знает, что герцог будет подозревать и его самого, – ответил Левенвольд.

Доложили о прибытии вольфенбютельского посла графа Кейзерлинга.

Остерман велел просить его в кабинет, и началось серьезное совещание о том, как свалить Бирона, если Миних уедет, чтобы принцу Антону получить регентство, Остерману быть первым министром, а Левенвольду устроиться, получив в управление штатс-канцелярию и быть кабинет-министром.

Между тем и Бирон за обедом закинул Миниху вопрос: «Хотел ли бы он быть малороссийским гетманом?»

– Как это гетманом? – спросил Миних. – Ведь гетмана нет! А на место Шаховского...

Говоря это, он подумал: «Эге, мне готовят ссылку, хорошо! Послушаем, какую песенку петь станут».

– Ну, кто же предложит вашему сиятельству идти на место Шаховского? Нет! Гетманом настоящим, каким был Мазепа, только еще с наследственными правами.

«Вот что!» – подумал Миних, но отвечал не задумываясь:

– Таким гетманом почему и не быть? Только, по-моему, это гетманство очень вредное для России дело! Оно ведет к раздельности, обособленности, розни! А русскому государству нужно объединение, сплоченность! Положим, что пока буду гетманом я, то по моей преданности царствующему дому и нашему всемилостивейшему регенту я не захочу отделиться от России, но из будущих гетманов нет-нет да и найдутся второй Мазепа или второй Дорошенко. Начнут сноситься с турками и с поляками, а для России это будет большой вред!

– Ну что, ваше сиятельство, нам толковать о будущем? Казаки просят; отчего и не сделать то, о чем они просят? – ответил герцог. – Вопрос теперь в том, кого выбрать гетманом? И если ваше сиятельство изволите признать удобным принять для себя это звание, то я завтра же распоряжусь...

«Вот как, – подумал Миних, – а дело-то у них уж наготове! Хорошо, мой милый, что завтра тебе не придется делать распоряжений!.. Наследственный гетман... оно было бы точно нечто новое, да только прежде всего как хохлы эту новость примут; а во-вторых, лучше в своих руках всю Россию держать, чем Малороссию». Но, думая это, он сказал:

– Наследственный гетман, это будет то же, что владетельный князь! Милость вашего высочества к моему дому всегда была беспримерна, и если... Да я у герцогини расцелую ручки! Мне не для себя, но для сына, который столь же предан России и вашему высочеству, как и ваш нижайший слуга!

Обед кончился. Миних стал прощаться. Герцогиня стала уговаривать его провести у них вечер.

– Старику отдохнуть немного нужно, ваше высочество, моя милостивая покровительница. Признаюсь, полюбил я эту русскую привычку после обеда немножко дань Морфею отдать. А уж если доброта ваша ко мне желает превзойти все пределы, то позвольте съездить уснуть часочек, а вечером и стать как лист перед травой. А то кто тут что ни говори, а шестьдесят лет сказываются!..

Нужно было согласиться. Но герцог и герцогиня просили, если только он будет в силах, доставить им удовольствие приехать вечером.

Миних уехал, но не лег спать. Он позвал своего старшего адъютанта подполковника Манштейна.

– Что, Манштейн, вы были в Зимнем дворце, говорили с офицерами?

– Был, ваше сиятельство, говорил!

– Ну что ж?

– Все с радостью готовы, ваше сиятельство!

– Так все готово?

– Готово, ваше сиятельство!

– Приезжайте же ко мне в два часа ночи.

Манштейн раскланялся, а Миних стал писать.

Вскоре после отъезда Миниха к герцогу приехал Левенвольд и привез проект положения о малороссийском гетманстве, манифест о дозволении приступить к его избранию и, наконец, конфиденциальное сообщение всем влиятельным лицам, что правительство желает, чтобы избрание пало на фельдмаршала Миниха и чтобы малороссийский народ, будто бы ради своего особого уважения к Миниху, ходатайствовал о предоставлении ему в гетманстве наследственных прав.

Герцог пошел к себе рассматривать привезенные бумаги, потребовать переводчика, так как по-русски он понимал плохо, а читать вовсе не умел. Вечером приехали еще генерал-прокурор Никита Юрьевич Трубецкой, барон Пален и банкир Липман, Пален был с женой и дочерью. В ожидании герцога сели играть. Через час приехал и Миних.

– Вот и я! – сказал он. – Свеж и бодр, будто двадцать лет с костей сбросил. А герцог за работой? Тем лучше! Я имею случай без него объясниться в любви перед вами, очаровательная герцогиня, а потом... потом перейти к баронессе!

Началась веселая болтовня. Гедвига спела немецкую балладу из Уфланда под аккомпанемент арфы. Скоро пришел и герцог. Болтовня продолжалась, но герцог мало принимал в ней участия. Он был как-то особенно задумчив, будто его что тяготило. «Если он откажется, я его арестую, – думал он. – Прямой повод, и...»

Мало принимал участия в общей болтовне и Левенвольд. Он тоже сидел задумавшись. «Что бы это было такое? – думал он. – Миних сегодня приехал второй раз, и все так веселы!»

Он слышал, что Бирон говорил Миниху о гетманстве, говорил, что завтра же он подпишет все бумаги и отправит; самое же положение пришлет ему на предварительный просмотр.

Он видел, что Миних не отказывался и благодарил. Стало быть, принимает, едет, и завтра все будет кончено. Ему, конечно, нужно будет уехать сейчас, чтобы наблюдать за ходом выборов; стало быть, он мешкать не будет. И все должно решиться завтра, а до завтра одна ночь.

– А что, ваше сиятельство, – спросил он у Миниха, – случилось ли вам проводить когда решительные атаки на неприятеля ночью?

Вопрос этот как бы кольнул Миниха. Но фельдмаршал был не из тех, которые смущаются.

– Право, не помню, чтобы я предпринимал против неприятеля ночью что-нибудь особенно важное, – отвечал Миних. – Но у меня правило: пользоваться всяким благоприятным обстоятельством, не упускать случая ни днем ни ночью.

Левенвольду на это сказать было нечего, он замолчал. В одиннадцать часов ночи все гости разъехались по домам.

Возвратясь домой, Миних начал приводить к осуществлению задуманное предприятие. Он пригласил нескольких лиц, в мыслях и убеждениях которых был уверен, и раздал этим лицам различные поручения в предположении, что дело непременно должно удался. Нужно было приготовить манифест о принятии на себя правления принцессой Анной Леопольдовной, сделать распоряжение о Бироне, о принятии присяги новой правительнице... К двум часам ночи все было готово.

В два часа ночи приехал Манштейн. Миних сел с ним в карету и поехал в Зимний дворец.

– Вы сами, Манштейн, проверяли караул по списку, который я вам дал?

– Сам проверял, ваше сиятельство; будьте покойны, ни один человек не изменит!

– А караул в Летнем дворце?

– Тоже все люди надежные, и выбраны большею частью те, которые были оскорблены герцогом. Стоять за него не будет никто.

– Кенигфельс нас ждет?

– Как же, ваше сиятельство, у Зеленого моста; при нем отряд в тридцать человек.

В это время карета въезжала на Зеленый мост. Близ самого моста стояла стройная фигура Кенигфельса, а на откосе берега (тогда набережные еще не были в граните) внизу, у самой речки, в темноте ночи, чуть виднелись черные силуэты притаившихся людей.

Проезжая мимо Кенигфельса, Миних сказал: «Будьте готовы!» – Кенигфельс отвечал поклоном головы.

Подъехав ко дворцу, Миних и Манштейн вышли из кареты и прошли на заднюю лестницу к квартире Юлианы Менгден. Войдя черным ходом на кухню фрейлины, они насилу добудились кухонного мужика, которому велели вызвать камер-юнгферу. Мужик разбудил ее скоро, но та не шла. Они слышали, что она допытывается, кто такие?

– А черт их знает кто! Один такой высокий, старый, будто его когда видал, а другой пониже и поплотнее будет!

– Ты бы спросил кто.

– Станешь тут много разговаривать – и так что потолще-то и помоложе шпагой плашмя так меня огрел за то, что я долго не вставал, ажно искры из глаз посыпались.

– Ах, боже мой, да уж не разбойники ли?

– Ну вот, какие разбойники; офицеры, должно быть!

– Офицеры. Час от часу не легче! Ну как они меня или фрейлину увезти хотят? Ведь между ними разные озорники бывают!

– Еще что выдумала. Кто на тебя, на кралоу эдакую, соблазнится. Вороне сродни, а тоже, увезут!.. Вишь ты!

Миних не выдержал и сам вошел в комнату камер-юнгферы.

– Беги сейчас, скажи Юлиане Густавовне, что фельдмаршал Миних ее дожидает!

Та струсила, но вдруг в ней явилось жеманство.

– Позвольте-с, сейчас доложу-с, позвольте одеться! Извольте выйти!

– Ну, милая, я не смотрю, одевайся, – начал было Миних с всегдашней добродушной улыбкой, но Манштейн не был так терпелив.

– Пошла! – крикнул он. – Иначе я тебе таких шелепов надаю, что ты у меня до второго пришествия одеваться забудешь!

А тут, как нарочно, на гвоздике висел хлыст для верховой езды Юлианы. Манштейн снял этот хлыст и хотел на деле показать, как это заставляют забывать об одеванье. Горничная, увидев в руках офицера хлыст, вскочила живо и в одной рубашке, босиком убежала.

Юлиана Менгден выскочила к ним тоже только в юбке и кофте.

– Что случилось? – спросила она.

– Ничего, прелестная наперсница! Нужно только разбудить принцессу. Проводите нас к ней, – сказал Миних.

Юлиана провела их через свою спальню в уборную Анны Леопольдовны.

– Скажите принцессе, чтобы она выходила скорей; пускай и принца разбудит! Она должна принять офицеров, которых я ей представлю. Мы сейчас же арестуем герцога.

Юлиана сперва разинула было рот от удивления, но, не сказав ни слова, убежала.

Разбудив принцессу и рассказав, в чем дело, Юлиана выразила свое мнение, чтобы принца не будить, а то он, пожалуй, как муж и отец императора, заявит претензию быть правителем самому, даст знать Остерману, а тот выдумает в его пользу какой-нибудь крючок, и все старание их пропадет даром.

Принцесса согласилась и приняла Миниха одна. На выраженное им желание представить офицеров она изъявила согласие. Миних приказал Манштейну позвать командующих караулом и тех, кто заранее был подготовлен.

Через несколько минут офицеры были введены, и нечего сказать, молодец к молодцу, испытанной храбрости, полные отваги и силы. Их было вместе с Кенигфельсом шесть человек, седьмой Манштейн. В карауле находилось сто двадцать рядовых. Решили – сорок человек из

них оставить при знамени во дворце, а восемьдесят человек взять с собой, оцепить дворец Бирона и арестовать его. У Миниха подготовлено было еще два отряда в тридцать и двадцать человек. С этими-то силами Миних решил арестовать главу государства и сделать переворот в правительстве. Правда, у него были подготовлены единомышленники среди преображенцев и семеновцев, но они о предприятии этой ночи ничего не знали.

Миних посоветовал принцессе что-нибудь сказать офицерам, пожаловаться на герцога и просить их защитить ее и императора от насилия.

– Господа, – произнесла она, – я призвала вас сюда, чтобы попросить вас защитить меня и вашего императора от насилия, которым ежечасно грозит нам герцог Бирон. Вы присягали охранять императора; защитите же его под начальством вашего славного фельдмаршала. Более, спасите его и мою жизнь, которой герцог угрожает.

Нужно сказать, что принцесса, не изуродованная костюмом, которого она никогда не умела выбрать к лицу, в белом с розовым капоте и с распущенными волосами была так хороша, как никогда не была хороша в своих великолепных нарядах.

Офицеры перебили ее речь выражением общего восторга и готовности умереть за нее.

– Мне стыдно, как матери вашего императора мне нельзя сносить все эти обиды! Поэтому прошу вас, господа, во имя вашей чести, во имя преданности вашей государю и отечеству избавьте нас от этого общего врага; пора прекратить эти пытки и казни, остановить льющуюся кровь... Вспомните о ваших товарищах: Ханыкове, Аргамачеве... Мой секретарь, адъютант принца, одним словом, все... – Принцесса запуталась в своих словах и, стараясь поправиться, протянула руку... – Я поручила фельдмаршалу арестовать нашего врага, помогите ему, господа!

Караулом командовал старый служака и рубака секунд-майор Пушкин.

Крутя свои рыжеватые усы, которые он носил вопреки уставу, и поглядывая на принцессу как на ребенка, которого тиранят злодеи, он не выдержал, схватил ее протянутую руку, горячо поцеловал и сказал:

– Матушка государыня, принцесса, великая княгиня, мы уже сказали, что готовы умереть за тебя! Нам и самим тяжело смотреть на этого проклятого немецкого ферфлюхта, что пьет русскую кровь! Вели вести нас, мы в огонь пойдем!

Вслед за Пушкиным подошел другой офицер к ее руке, за ним третий, последним подошел Манштейн.

– Идите же с Богом! Фельдмаршал вас поведет и укажет! Слушайте его приказания, они идут от вашего императора, и передает их вам его мать. С Богом! Дайте я перецелую вас на прощанье.

И она подарила Манштейну свой первый поцелуй, а потом по очереди перецеловала всех остальных.

Затем все вышли во двор и сделали расчет караула, восемьдесят человек под командой самого Миниха отправились в Летний дворец. Пушкин с отрядом в сорок человек должен был оцепить дворец; Манштейн с отрядом в двадцать человек и субалтерн-офицером проникнут во внутренние покои и произведут арест; двадцать человек при Минихе должны были оставаться в резерве. Два отдельных отряда должны были арестовать братьев Бирона, Карла и Густава, его зятя – генерала Бисмарка и кабинет-министра Бестужева.

Миних не сел в карету, а пошел с людьми. Карета следовала за ним.

Около дворцовых оранжерей отряд остановился. Миних послал Манштейна вперед переговорить с караульными офицерами. Утром караул этот он видел сам, назначение его было обдумано вперед, поэтому он знал, что противодействия с его стороны не должно быть; но во избежание всякой случайности, как осторожный главнокомандующий, он хотел все же вперед произвести рекогносцировку. Пушкину с его отрядом Миних велел обойти дворец кругом, к каждому выходу приставить двух часовых с примкнутыми штыками и не выпускать никого.

– Чтобы птица пролететь не могла, так окружи, Пушкин! Знаешь, по-моему, по-военному: кто покажется – забирай, не дается – коли! Я отвечаю за все!

Манштейн вошел в комнату к караульным офицерам и нашел, что двое из них спят, один в кресле, другой на диване, а третий при сальном огарке пишет кому-то письмо.

– Господа! – сказал Манштейн, хотя из этих господ мог слушать его только один. – Скажу вам радость! Я прислан арестовать Бирона!

– Что-о? – вскрикнул пишущий с изумлением и выронил из рук перо.

– Да, арестовать! Принцесса сама выходила и приказывала, и фельдмаршал с нами. Вы нам не помешаете?

– Мы! Да если вы пришли его повесить, так мы веревку приготовим!

– А господа?

– Само собой, обрадуются! Слушай, вставай! – начал офицер расталкивать своих товарищей. – Радость: герцога повесить хотят!

– Что? А? Эх, братец, разбудил! Ты смеешься, а я такой сон хороший видел, – видел, будто его в самом деле повесили!

Оба офицера, однако, проснулись и, выслушав Манштейна, заявили предложению об аресте регента свое полное сочувствие. Все в одно слово говорили, что такой радости и не ждали; что не только за себя, но и за солдат своих ручаются; что когда герцога арестуют, то для всех для них будет праздник.

С этим ответом Манштейн отправился к Миниху. Тогда Миних приказал ему идти с отрядом в двадцать человек и взять Бирона.

– Манштейн, – сказал он, – живого или мертвого, но ты должен его представить! Помни, что ты играешь на свою и на наши головы!

– Будьте покойны, ваше сиятельство, живого не выпущу! – С этими словами Манштейн вернулся во дворец.

Войдя в караульную комнату, он стал совещаться с офицерами о том, как бы дать знать часовым, чтобы те его не окликали и не задерживали. Сперва думали было произвести смену часовых, а новым сделать внушение, но на это требовалось много времени, да и могло возникнуть подозрение, зачем не вовремя смена? Наконец решили, что Манштейн пойдет один с их ефрейтором. Часовые, видя старшего адъютанта фельдмаршала с их ефрейтором, разумеется, будут думать, что он идет с донесением, и беспрепятственно пропустят их. Отряд же будет следовать за ним шагах в двадцати; о пропуске его уже будет заботиться ефрейтор.

Так и сделали. Манштейн прошел все караульные посты без всякого затруднения и вошел во внутренние покои.

Но, войдя туда, он невольно остановился.

«Где же спальня герцога? – подумал он. – Как бы не запутаться?»

В комнате было три двери. Манштейн остановился. Ему невольно пришел на мысль эпизод из индийской сказки, облетевшей в народных преданиях целый мир, где рыцарь, отыскивающий свое счастье, должен был остановиться на перекрестке трех дорог и прочитать надпись: «Пойдешь направо – с голоду помрешь; пойдешь налево – коня уморишь; пойдешь прямо – оба будете сыты и оба биты».

«Здесь, положим, с голоду не умрешь; коня со мной нет, так и морить некого; зато ошибешься, так не только прибьют, а в застенке у Андрея Ивановича все кости переломают, всю душу измают, и в конце концов голову на колесе сложить придется!»

При этой мысли Манштейн вздрогнул. Он заколебался было. Но всего лишь одно мгновение. Он сейчас же ободрил себя: «Из дворца не уйдет! Фельдмаршал не оставит, коли пошел! – С этою мыслью он приоткрыл первую дверь – она вела в коридор. – Не может быть, чтобы они по коридору в спальню ходили, – подумал он; приоткрыл вторую: видимо – тафельдекерская, в ней на кушетке спал дежурный лакей. – Разбудить и спросить? А если он поднимет шум?



Если с умыслом укажет не туда, а сам побежит предупредить? Герцог, разумеется, спрячется, и хлопот будет много. Нет! Иду на счастье, была не была!»

Третья дверь вела в великолепную гостиную. «Надобно думать – сюда, – рассуждал про себя Манштейн и махнул рукой ефрейтору, заставив его стоять перед входом во внутренние комнаты, чтобы указать отряду, куда идти, когда он позовет. – Верно, спальня идет по линии фасада», – думал Манштейн и шел дальше, не затворяя за собою дверей.

Пройдя комнаты две или три, он вошел в небольшую комнату, из которой вела только одна дверь. Он хотел войти в эту дверь, но оказалось, что она заперта изнутри. Манштейн опять поневоле остановился.

Опираясь на эту дверь и шевеля тихонько ручкой, он стал раздумывать, что делать: «Идти кругом, поставив здесь часовых, или попробовать из сада влезть в окно – все это трудно и рискованно! А что спальня здесь, в этом нет сомнения». Но он вдруг почувствовал, что от его давления дверь подается. Он надавил сильнее – и дверь отворилась. Ни верхняя, ни нижняя задвижки не были задвинуты. Манштейн вошел.

Перед ним действительно была спальня герцога. К одной из стен примыкал альков, драпированный дорогим штофом и украшенный гербами Курляндии и Семигалии, золотыми шнурами, кистями и бахромой. Занавесы алькова были опущены. Приподнимая осторожно одну из этих занавесей, Манштейн увидел стоявшую на возвышении низенькую, но широкую, двухспальную кровать. Герцог и герцогиня оба крепко спали. Случайно он подошел с той стороны кровати, на которой спала герцогиня.

Герцог спал крепко. Он только недавно заснул. После того как от него уехал Миних, он долго говорил с Левенвольдом, который доказывал ему, до какой степени Миних опасный человек для его регентства, повторяя, разумеется, те доводы, которые успел внушить ему Остерман. Он говорил, какое сильное влияние может иметь на войско фельдмаршал, особенно фельдмаршал победоносный, напоминающий войску времена и славу Петра Великого. Он ука­зывал на его умение говорить с солдатами, на его мастерство показать, что он о них заботится, разделяет их труды и опасности, которые действительно, по своей беззаветной храбрости, он всегда разделял, будучи всегда впереди и всегда на виду.

– Говорили, – продолжал Левенвольд, – что он не жалеет солдат в битве и покупает свои победы их кровью. Но войско никогда не жалеет об убитых в сражении и любит славу победы. Оно знает, что госпитали, дурная стоянка и бездействие уносят больше жертв, чем самые кровопролитные битвы. А никто не может сказать, чтобы Миних, согласно существовавшим тогда понятиям, не заботился о госпиталях, о провиантах или чтобы оставлял войско в бездействии. Довольно сказать, что солдаты забыли видеть в нем иностранца, они смотрят на него как на русского! – говорил граф Левенвольд. – У них теперь граф Христофор Антонович Минихов такой же отец командир, как до того был князь Михайло Михайлович Голицын, с которым они охотно лезли на стену! А, разумеется, общая любовь войска для вашего высочества, как человека невоенного, не может не быть опасной...

Герцог слушал внимательно.

– Но кроме войска, – говорил Левенвольд, настроенный Остерманом, – Миних популярен и в народе. Народ чувствует пользу, которую ему принес Ладожский канал: хлеб подешевел, без дров не сидят, мясо и живность стали дешевле. «А все это Минихов сделал, дай бог ему здоровья!» – говорит народ. Каждое сооружение, которое он производит, вызывает его благодарность к нему, тем более что он очень доступен, каждому объясняет, с каждым говорит. Народ любит его за эту простоту, как войско – за беспримерную отвагу. Что же, ваше высочество, вы хотите сделать против такого человека, который притом так лукав, что умел сойтись и с здешними старинными гордыми домами. Голицыны, Головкины, Куракины, Заце-

пины, Ростовские, Нарышкины, Лопухины, Долгорукие – все приятели с Минихом, все приносят приносимую им государству пользу.

– Точно опасный человек, и его нужно убрать во что бы то ни стало! – сказал герцог как бы про себя. – Он же нынче и с молодым двором начал заигрывать! Да! А это при положении его сына, как гофмейстера, и его брата, как постоянного партнера, делает его сильным и весьма опасным. С Менгденами же они свои! Делать нечего, решаюсь! Пусть принимает гетманство. Завтра же вручу ему все бумаги. Если же он не захочет, о – тогда я знаю, что я сделаю!.. – и Бирон судорожно и злобно перекошил губы.

– Он говорил, что принимает и будет очень доволен, – сказал Левенвольд. – Ведь еще при жизни покойной государыни он хотел, чтобы его сделали украинским герцогом.

– Да, и государыня отвечала: «Миних очень скромн, просит сделать себя герцогом украинским; не хочет ли он, чтобы я его сделала великим князем московским?» Она отвечала это потому, что знала, что Малороссия тогда будет потеряна для России! – проговорил мрачно Бирон.

– Это еще бог знает, ваше высочество! Прежде всего как еще он управится с ней и долго ли проживет? Потом, согласитесь, что сын его не смотрит таким орлом-главнокомандующим, как его отец. А главное, чтобы теперь-то он уехал и чтобы ваше высочество могли быть покойны и в вашем высоком положении могли себя укрепить. Кроме Миниха, здесь некому поднять голос против вашего высочества. Говорят о принце Антоне... Да разве он может что-нибудь один? Нет ни одного генерала, пользующегося сочувствием войска; а ведь военные – это сила.

– Прочтем бумаги, которые заготовил Андрей Иванович; читай ты! – сказал герцог Левенвольду. – Хотя нужно сказать правду, мы оба с тобой по части русского языка – швах! Но это ничего, мы поймем главное, а завтра приедет Бестужев и отделает подробности.

Левенвольд стал читать.

– «Понеже малороссийский народ, отличаясь всегда верностию нашему царскому и императорскому дому, на службе своей нам оказывал неоднократно многие примеры своего усердия и преданности, какими надеемся и впредь отличаем быть имеет, и как отсутствие гетмана и управление посредством особо учрежденной комиссии многие неисправности и упущения производит и наивящше на войсковую казну тягчайшим обременением ложится, и таких непорядков по неназначению гетмана ни исправить, ни наобласти невозможно, то мы заблагорассудили...» – далее говорилось о предоставлении малороссийскому народу права избрать себе гетмана «из известных своею преданностию и честию из находящихся при нашем дворе знатных особ».

И долго еще сидели Бирон с Левенвольдом за этим сочинением, пока наконец окончили и распростились. Герцог пошел спать, а Левенвольд поехал к Остерману сообщить о результатах своей беседы. Там он нашел принца Антона, который тоже ждал его возвращения.

– Ну что? – спросил принц Антон, будучи не в силах скрыть свое нетерпение, в то время как Остерман сделал Левенвольду тот же вопрос, только одним взглядом.

– Все готово! Миних сказал, что будет рад быть наследственным гетманом; определение о том и манифест завтра же будут внесены в кабинет.

– Виват! Браво! – вскрикнул принц.

– Да, виват, браво, – прибавил Остерман спокойно. – Обещаю вам, что через неделю после того, как Миних уедет, ваше высочество, как отец императора, будете нашим регентом и повелителем. Дайте-ка рейнвейну выпить за здоровье принца.

Рейнвейн явился, и общие пожелания выразились в общем тосте выпитого дружно старого, букетного немецкого вина.

Взглянув на спящих герцога и герцогиню, Манштейн живо воротился к дверям, чтобы знаком ускорить движение отряда. Когда он подошел вновь, то герцог, утомленный работой, спал так же крепко; герцогиня же начала просыпаться и тихо, сквозь сон, спросила:

– Кто тут?

Манштейн промолчал. Он думал, может быть, она снова уснет. Но матовый свет фарфорового ночника ударил ей в лицо; она услышала дыхание постороннего: ей стало страшно. Она приподнялась и спросила уже громко:

– Кто тут?

– Не беспокойтесь, герцогиня, – сказал Манштейн, желая протянуть время. – Нужно видеть герцога.

Но герцогиня была не в силах вслушаться.

– Что такое? Кто? Караул! Караул! – завизжала она в совершенном беспамятстве.

– Я много караульных привел, не извольте беспокоиться! – отвечал Манштейн.

Манштейн стоял у кровати со стороны герцогини. Он хотел было через кровать схватить герцога за руку или за ногу, чтобы удержать его на постели до прибытия солдат, но герцог проснулся и вскочил. При взгляде на Манштейна первую мыслью его было спрятаться под кровать, но Манштейн успел обежать вокруг кровати и схватил его поперек. Герцог попробовал было отпихнуть его, наконец ударил его в бок, думая, что Манштейн выпустит его. В то же время он громко во весь голос крикнул:

– Люди! Караул!

Герцогиня визжала страшно, стоя на постели на коленях и вцепившись в Манштейна. Манштейн держал Бирона крепко и тоже закричал.

– Скорее, скорей, уйдет!

Солдаты, услышав общий крик, бросились бегом в спальню. Двое из них, вбежав первыми, схватили герцога и ударом кулака освободили Манштейна от ног герцогини.

Началась свалка. Герцог хотел отбиться кулаком. Солдаты в свою очередь не жалели его и начали дуть кулаками и прикладами. Подбежало еще трое солдат.

– Вот тебе за Волынского! – проговорил молодой солдатик, нанося ему удар прямо в глаз, так что тот отек и закрылся. Другой солдат ударил Бирона под бок; кто-то ударил его прикладом в спину. Бирон чувствовал, что силы его слабеют. А тут подбежали еще двое. Один ударил его в лицо, так что удар раздвоил нижнюю губу и вышиб зуб. Из рта и носа у него полилась кровь, руки его держали как в тисках. Вошло еще десять человек с ружьями и стали у дверей. Манштейн расставил из них часовых.

С Бироном возилось шесть человек. Он все еще не сдавался; ему удалось бросить свои карманные часы в зеркало, и оно разбилось вдребезги. От нового удара в лицо Бирон упал. Тут он пробовал было опять залезть под кровать, но почувствовал, что его кусает неизвестно каким образом пробравшаяся туда собака. А солдаты тащили его за ноги и били прикладами ружей. Вне себя он закричал изо всех сил. Придворные, как крепко ни спали, утомленные дневной службой, начали показываться у других дверей спальни, ведущих в гардеробную. Их встретили часовые с примкнутыми штыками, и Манштейн распорядился их прогнать, хотя ни в одном из них не было заметно даже желания защищать герцога.

Наконец солдаты забили его рот платком, взяли офицерский шарф и начали крутить лежавшему герцогу руки, упираясь в грудь и бока коленями и сапогами, чтобы не дать ему подняться. Манштейн отдал им еще свой шарф; этим шарфом они связали ему ноги. Тогда они подняли распухшего, избитого герцога и поставили его на ноги. В это время молодой солдатик нанес ему еще удар в другой глаз, поставив громадный фонарь и проговорив:

– Вот тебе за Ханыкова!

Манштейн распорядился, чтобы его больше не трогали, так как он связан; но не обошлось без того, чтобы озлобленные солдаты исподтишка не дали ему еще нескольких горячих тычков. Бирон только стонал, насколько допускал забитый платком рот.

– Ну вали его и тащи! – приказал Манштейн, и солдаты, накиннув на него свех рубашки солдатскую шинель, схватили за плечи и за ноги и понесли.

Когда они уже подошли к лестнице, навстречу им бросилась девушка в кофточке с распущенными волосами.

– Изверги, злодеи, что вы делаете? – вскрикнула девушка, бросившись прямо на двух шедших впереди и несущих ноги герцога солдат.

Но один из них с словом: «Прочь!» – ударил ее кулаком в грудь изо всей силы, и она покатилась кубарем по лестнице вниз.

Это была Гедвига Бирон. Принцы Петр и Карл сидели в своих комнатах запершись. К ним Манштейн поставил часовых.

– Пойдите, пойдите! – кричала герцогиня. – И меня и меня! – Но на ее крики никто не обращал внимания. Медведя свалили, медведица и медвежата были не опасны.

Герцога, как есть связанного, посадили в карету Миниха, с ним сел офицер; на козлы и запяжки посадили конвой и повезли так в Зимний дворец.

Бисмарк и Бестужев также были арестованы. Когда Бестужева брали, он спросил у Кенигфельса, который пришел его арестовать:

– За что же его высочество регент-герцог на меня гневаться изволит? Я служил ему, кажется, всеми силами.

– То-то и есть, что всеми силами, – но это не мое дело! Там разберетесь, – отвечал Кенигфельс.

В шесть часов утра Миних, торжествующий, прибыл в Зимний дворец. Все было кончено и не пролито ни капли крови, если не считать той, которая вылилась из герцогского носа, угощенного солдатским кулаком.

– Тако да погибнут нечестивии, – говорила Новокшенова в своем кругу, сердитая на Бирона за то, что он велел всех шутов и шутих императрицы Анны выгнать из дворца помелом. Она не сообразила, что этот, и только этот поступок Бирона и занесет на свои страницы русская история, как действительно доброе и полезное в общем развитии человечества дело. Более его добром помянуть не за что.

## II Гедвига

Принц Антон и граф Левенвольд вышли от Остермана с самыми радужными надеждами. Принцу казалось, что он уже регент обширной империи, генералиссимус славных русских войск и в дружбе с родственным цесарским двором, в согласии с ним, предписывает законы Европе. Ему представлялось уже, будто перед ним, маленьким германским князьком, склоняются все могущественные государи, ищут его дружбы и стараются заслужить его расположение. Посредством своих послов они удостоверяют в своей готовности признать его главенство, содействовать его намерениям.

«Короли, французский и испанский, – думает он, – пришлют послов поздравить с вступлением в управление. Польский и шведский короли будут искать моего патрона. Прусский король, опираясь на родство, будет тоже стараться мне угождать. Дания, нет сомнения, особенно будет стараться расположить меня к себе, чтобы я не принял стороны голштинского принца по вопросу о Шлезвиге. А мне какое дело до Шлезвига? Правда, цесаревна Елизавета будет настаивать помочь ее племяннику, но дурак я буду, если вздумаю поддерживать соперничающую линию; помогать тем, кто может быть противником моего сына! Нет, настолько глуп я не буду! – рассуждал принц Антон. – Я знаю, что в политике нет родства и что помогать сопернику – значит идти против себя. Первым министром у меня будет Остерман, человек действительно умный, выходящий из ряда политических человек. Он научит и выпутает меня из всех сложных комбинаций, предотвратит все могущие встретиться затруднения... А если не предотвратит? – вдруг спросил он себя. – Ну что ж? Тогда я стану во главе своего войска и поведу эту славную русскую армию, которая возвысит славу моего имени во все концы земного шара!»

Мечтая о своем величии и славе, принц, сопровождаемый Левенвольдом, шел, чтобы сесть в свою карету. В воображении его мелькала битва, уничтожающая в прах его врагов; битва кончается, начинается преследование бегущего неприятеля. Он преследует своей кавалерией, летит впереди сам, и все склоняются, все падают ниц. Он мечтал уже о том великодушии, которое, как победитель, он окажет, и о том, как Миних, пристав к его врагам, подобно Мазепе, вынужден будет прибегнуть к его монаршему милосердию.

Не менее радужные мечты одолевали голову и Левенвольда. Он должен быть третьим человеком в империи. Регент, Остерман и он. Ему отдадут силезские имения Бирона, уплатят долги, обеспечат особым капиталом. Это ему необходимо. Потом его сделают обер-камергером, кабинет-министром и президентом штатс-конторы. Он будет жить роскошнее, чем теперь живет герцог Бирон. Кредит его поднимется. Положение и значение его опять станут на ту высоту, на которую, некогда думали, они станут, когда двадцатилетним юношей он вдруг явился при дворе андреевским кавалером, с той только разницей, что тогда это положение давало ему надежды на будущее, а тут будет осуществление этих надежд в настоящем.

Такого рода радужные мечты Левенвольда поддерживались еще весьма увесистым ощущением. Он чувствовал в кармане присутствие двадцати свертков золота, по пятьдесят золотых в каждом, присутствие тысячи золотых, данных ему Остерманом, несмотря на его скупость, за услугу в переговорах с Бироном о высылке из Петербурга Миниха во что бы то ни стало, хотя бы России для этого пришлось пожертвовать Малороссией. Эта тяжесть в кармане была для него тем приятнее, что, проигравшись еще ранней осенью, он давно чувствовал в своем кармане отсутствие всякого присутствия.

Усадив принца в карету и сядя в свою, Левенвольд подумал: «А что, ведь теперь не поздно!» Он нажал пружину репетиции своих часов; пробило половина второго.

«У Леклер, – подумал он, – пожалуй, теперь большая игра. Заехать разве?»

И несмотря на то что Левенвольд много раз давал себе слово не портить своего положения проигрышами, он не выдержал себя и приказал ехать к Леклер.

Понятно, игрок всегда игрок. Он также ставит ребром последний рубль от безнадежности, как ставит его в чаду радужных надежд, и если зарекается не играть, то до первых денег, точь-в-точь так же, как и пьяница, который пьет с горя и радости, и если зарекается не пить, то – до первого поднесения. Левенвольд был игрок в душе, так же как и Бирон. Он любил самый процесс игры, независимо от выигрыша. Игра его опьяняла. Он чувствовал, что живет только в то время, когда играет. Получив тысячу золотых после долгого поста, происходившего от безденежья, он не в силах был преодолеть своей страсти, не в силах был отложить до завтра. И зачем откладывать? Сегодня из этой тысячи можно сделать десять, а с десятью тысячами золотых в кармане всякое дело успешнее, всякое предположение вернее.

Но у Леклер Левенвольд не нашел той большой компании, какую ожидал. Из знакомых, играющих по большой, он нашел только Лестока, да и тот был занят игрой в тинтере с каким-то гамбургским негоциантом. Были еще Генриков, Лопухин, молодой Зацепин, Салтыков и еще несколько старых и молодых любителей тогдашнего французского бонвиваната и поклонников очаровательных глаз и любезностей хорошенькой француженки. Но настоящих игроков, действительных партнеров, противников, стоящих с Левенвольдом на одной ступени, кроме Лестока, не было ни одного. Впрочем, Леклер сказала, что она надеется, что будет Густав Бирон и банкир Липман, стало быть, Левенвольду стоило подождать.

В ожидании появления этих достойных партнеров, а также пока Лесток кончит свое тинтере, Левенвольд сел в экарте с Генриковым. Игра была для него слишком ничтожная: два золотых партия. А Левенвольду хотелось большой игры, хотелось ощущений, чтобы отвлечь свои мысли от политики; хотелось рассеяться перед надеждами на то, что завтра же может быть осуществлено, именно что Миних будет спущен в Малороссию и что затем, содействуя Остерману и принцу Антону в их намерениях, он получит государственное значение. «Ведь тогда, пожалуй, и поиграть не удастся, – подумал он, – хоть какое-нибудь, да дело, верно, будет, поэтому, пока на свободе...» Думая об этом, он предложил присутствующим, не угодно ли кому держать против него. Но никто не отвечал. Оно и понятно: все знали, что Генриков в экарте играет несравненно слабее Левенвольда.

Молодой Зацепин в это время играл с Лопухиным в шахматы. Игра была безо всякого интереса. Князь Андрей Васильевич на интерес ни во что не играл; тем не менее игра эта задевала самолюбие игроков, особенно потому, что в обществе того времени существовало мнение, что быть хорошим шахматным игроком может только очень умный человек. Когда Левенвольд вызывал посторонних держать против него, то Зацепин подумал: «Хорошо бы наказать этого проклятого ферфлюхтера за его прошлую дерзость и доставленные мне неприятности и препятствия».

Мысль эта могла явиться в голове князя Андрея Васильевича тем естественнее, что хотя Левенвольд, ввиду милости к нему покойной государыни особого внимания, оказываемого всем герцогским семейством и вообще успеха в свете, наконец, ввиду того, что он должен был хотя наружно показывать, что он благодарен за брата, – был с ним весьма вежлив, но было видно, что сцены приезда его в Петербург он вовсе не забыл. Он постоянно держал себя в рассуждении его весьма серьезно и сдержанно. Мстительный характер и заносчивость Левенвольда не давали ему покоя, напоминая, что он должен был выслушать дерзкий ответ этого негодного русского мальчишки. Он злился, выходил из себя, вспоминая, что этот дикий русский молокосос смел угрожать ему, «немецкому барону и графу», смел так с ним разговаривать, и за такой разговор он, немецкий барон и граф, не мог его не только как следует проучить, но еще должен теперь благодарить; видите, он с ним в великодушие играть вздумал, брату помочь.

«Неважное дело бросить сотни две-три золотых, – подумал молодой Зацепин. – Попробую, а уж если мне повезет, задену же я его, да так, что он не будет знать, как со мной и разделиться!»

Думая так, князь Андрей Васильевич сказал:

– Если вашему сиятельству угодно, я держу против вас сто золотых!

Левенвольд, взглянув на него, подумал:

«Вот бы хорошо обыграть его хорошенько. Перво-наперво, наказать бы дерзкого мальчишку, а потом – начнет играть, кружок играющих увеличится, в обороте игры приливу больше будет! У него же, говорят, денег не занимать».

Но, думая это, Левенвольд сказал:

– Не много ли будет на одну партию сто золотых?

– Как угодно вашему сиятельству, а менее я держать не стану! – отвечал Зацепин.

– Играть так играть! – проговорил Лопухин.

– Хорошо, идет сто золотых! – с внутренней досадой отвечал Левенвольд. Он подумал: «Нельзя упускать случая, нужно воспользоваться! Нет никакого сомнения, что Генриков далеко ниже меня по игре в экарте».

– Что, князь, не выдержали, начали? – обратились было многие к Зацепину. Он не смутился этим, а шутливо отвечал:

– Совсем нет! Я держу собственно для того, чтобы доставить удовольствие его сиятельству, который, я знаю, не любит маленькой игры!

Лопухин спросил, не бросить ли им их партию.

– Это зачем? – возразил Зацепин. – Мы можем продолжать! – И, обратясь к Генрикову, он просил его сказать, когда он проиграет, а сам углубился в свою шахматную игру.

Левенвольд первую игру взял все пять взяток и отметил два очка.

– Плачут ваши сто золотых! – сказал Генриков Андрею Васильевичу.

– Пусть их себе плачут! – проговорил Андрей Васильевич, стараясь не обращать на игру Генрикова ни малейшего внимания и углубиться вполне в шахматные соображения.

«Ведь дядя говорил, что нет ничего мещанистее, как дрожать за свои деньги», – подумал он, подвигая королевскую пешку.

Вторую игру Генриков поравнялся. Он открыл короля и взял три взятки. Следующая игра была тоже Генрикова. У него стало четыре очка, тогда как Левенвольд оставался при двух. Четвертую игру сдавал Левенвольд и дал Генрикову короля на руку. Партия была выиграна Генриковым.

– Вы выиграли, князь! – сказал Генриков Зацепину.

– Прекрасно! Прикажете, ваше сиятельство, пароль? – спросил Зацепин у Левенвольда, делая конем шаг даме.

Левенвольда задело за живое.

– Хорошо, – сказал он, – идет ваш пароль!

Партия опять была выиграна Генриковым.

– Вы выиграли, князь, – сказал Левенвольд. – Сколько вам угодно теперь?

– Все!

Левенвольд опять согласился и опять проиграл.

– Угодно опять на все? – спросил князь Андрей Васильевич, когда ему сказали о выигрыше.

– Не ограничиться ли, князь, четырьмястами? – спросил Левенвольд.

– Нет. Или все, или ничего! – отвечал князь Зацепин. – Иван Степанович прав, говоря: играть так играть! Как прикажете?

Левенвольду стало жаль проигранных шестисот золотых. Он подумал: «Проиграл три партии сряду с Генриковым, неужели проиграю и четвертую? Это даже невероятно! Но как

же? У меня всего тысяча золотых... Ну что ж? Приедет Бирон или Липман, возьму у них, не то у Лестока, когда он кончит свое тинтере! Да невероятно, чтобы четыре партии сряду...» И он согласился играть опять на все.

Но Левенвольду не везло, и он проиграл опять. В это время и Лопухину Зацепин сделал мат.

– Вы выиграли тысячу двести золотых! – сказал Генриков Зацепину.

– И прекрасно! – весело отвечал Андрей Васильевич. – Для первого дебюта и довольно.

У графа Левенвольда выступил холодный пот. Для уплаты ему не хватало двухсот золотых. Ни Бирон, ни Липман не приезжали, а Лесток был так занят своею игрою, что спросить у него было нельзя. Продолжать игру с Генриковым не было смысла. На этой игре он не мог отыгаться. Однако ж он продолжал, чтобы протянуть время до расчета и думая, у кого бы перехватить двести золотых.

Андрей Васильевич, заметив колебание Левенвольда, угадал, что у него, должно быть, недостает денег для расплаты, и торжествовал. Он отошел от игорного стола в сторону и начал с кем-то длинный разговор об охоте, будто совсем и забыл о своем выигрыше.

После долгих колебаний Левенвольд скрепя сердце вынужден был к нему подойти. Подавшая двадцать свертков золота, он извинился за недостающие двести золотых, которые обещал доставить на другой день.

– Помилуйте, граф, стоит ли об этом говорить? Прошу убедительно не беспокоиться! Когда вам будет угодно! – отвечал князь Андрей Васильевич. – Не нужно ли вам? Оставьте у себя и эти...

Левенвольд поблагодарил и отказался.

А тут будто нарочно: только он отошел от Зацепина, подошел Лесток и вызвал на игру.

Левенвольду страшно хотелось играть. Во-первых, хотелось отыгаться. Страсть игры от проигрыша усиливается. Во-вторых, хотелось играть для игры. Он проиграл, почти не играя.

Сесть играть без денег нельзя, ввиду того общего условия в доме Леклер, чтобы по игре рассчитываться сейчас же. Игроки, в том числе и Левенвольд, в своих интересах строго наблюдали за исполнением этого правила; каким же образом он сам его нарушит, да еще против Лестока? А от денег он сейчас отказался. Но это еще можно поправить. И страсть игрока победила гордость немца. Он подошел вновь к князю Андрею Васильевичу, в то время как тот опять садился за шахматы.

– Простите, князь, – сказал Левенвольд, – я сию минуту отказался от вашего любезного предложения... но если бы вы его повторили мне, то очень, очень бы обязали...

– С удовольствием, с большим удовольствием, граф! – отвечал Андрей Васильевич. – Вот ваша тысяча золотых! У меня с собой есть еще тысячи полторы в векселях Липмана и Велию.

Если будет нужно, я весь к услугам вашего сиятельства. А приедет дядюшка, и у него можем взять.

Ясно, что такая любезная обязательность не могла не вызвать в Левенвольде чувства благодарности и приязни хотя на эту минуту. Это чувство усилилось еще тем обстоятельством, что благодаря обязательности Зацепина Левенвольд не только отыгрался на Лестоке и Липмане, который хоть и поздно, но приехал, но еще, расплатившись с Андреем Васильевичем, уезжал с крупным кушем выигрыша. Ни один из Биронов и Зацепин-дядя не приезжали.

Игра кончилась часу в четвертом в исходе. Левенвольд и Зацепин вышли вместе совершенными приятелями. Левенвольд соображал: «У этого юноши и вперед можно будет перехватывать; видимо, у него денег куры не клюют! Притом Миних уедет, придется составлять партию в пользу принца Антона; молодой, богатый русский князь, древнего рода, гвардейский офицер и уже получивший значение в обществе будет для нашей партии завидным приобретением. Нужно с ним сойтись, непременно нужно сойтись!»



Андрей Васильевич не велел приезжать за собой экипажу. Он пожалел лошадей и кучера, заставив ждать их себя неизвестно до которого часу. Он думал, что можно ведь и пройтись изредка. Но на дворе было скверно. Левенвольд, ездивший в придворной карете и могущий, по управлению своему двором, менять экипажи хоть по пяти в день, не имел никакой надобности экономить в этом отношении; поэтому карета всегда была к его услугам. Он уговорил Зацепина ехать с ним.

– Ведь мне это почти по пути, – говорил Левенвольд. – Мы проедем по Фонтанке, повернем в Итальянскую и, проехав мимо Летнего дворца на театральный мост, поедем по Мее к старому дворцу, где я живу и где весьма рад буду видеть вас, князь! При этом мы будем проезжать мимо самого дома вашего почтенного дядюшки, поэтому вы ни в каком случае не можете меня затруднить!

Андрей Васильевич принял предложение и сел в карету Левенвольда.

В карете Левенвольд начал разговор тем, что высказал свое неудовольствие регентом. Заметив, что этим он не вызвал в молодом Зацепине противоречия, он стал продолжать.

– Недовольство регентом общее, – говорил Левенвольд, – всего двора. Немцы решительно все против него, поэтому мы решились его низложить. Все видят, что он терзает Россию бесполезно, что русские против него уже озлобились, и это озлобление может быть для всех нас опасно. Восстанет, пожалуй, народ, и мы все должны будем поплатиться своими головами за то, что делает Бирон! Мы бы давно его низложили, в первый же день, да мешает фельдмаршал Миних! Этот ненасытный честолюбец, пожалуй, все в свои руки возьмет; ненасытность его ничем удовлетворить невозможно! Поэтому мы сперва решились постараться, чтобы прежде всего во что бы то ни стало удалить из Петербурга Миниха, а потом...

Ведя этот разговор с целью привлечь на свою сторону молодого князька, Левенвольд был не настолько умен, чтобы скрыть свои дальнейшие предположения. Он высказался, что Миниху дают Малороссию, Бирона прогонят в Курляндию, регентом будет принц Антон, он же будет генералиссимусом. Остермана сделают первым министром и подчинят ему все управление, а его, Левенвольда, сделают кабинет-министром вместо Бестужева, которого сошлют жить в своих деревнях за его преданность Бирону. Князя Черкасского оставят на месте. Если князь Андрей Дмитриевич Зацепин, дядюшка Андрея Васильевича, присоединится к ним, то его могут сделать генерал-адмиралом; ему же, Андрею Васильевичу, Левенвольд предлагает производство в капитаны гвардии и место обер-шталмейстера князя Куракина, которого думают послать послом в Париж.

Слушая это выгодное для себя предложение со стороны влиятельного немца, Андрей Васильевич почувствовал будто укол в сердце. Его охватила какая-то невольная тоска. Он подумал: «За что иноземцы так делают, так треплют мою бедную родину? Победили ли они ее в честном бою или осчастливили своей разумной деятельностью? Нет, они ничего не сделали, ничего не принесли! Они умели только сплоченно и стеной идти к фавору, умели только выпрашивать друг другу милости, только расхищать и терзать... А теперь они делают и треплют Русскую землю как победители!»

И чувство гражданской скорби невольно охватило его. Он ощутил обиду в ущемлении своей народной гордости. Его колола эта бесцеремонность, с которой смотрели на него самого как на быдло, могущее думать только о своих личных интересах и больше ни о чем. Такая мысль, такое сознание невольно возмущали его, хотя предложение в его годы быть произведенным в капитаны и получить место обер-шталмейстера, разумеется, не могло не представляться ему весьма лестным. Вместе с тем он не мог не подумать также и о том, что будет с Гедвигой? Она уедет в Курляндию и там, пожалуй, потеряет все! Бироны ее не любят. Между тем через нее он мог бы то же, и даже еще больше, получить! Притом, пожалуй, может возникнуть междоусобие. Герцог так скоро не сдастся. Найдутся, пожалуй, многие, которые примут его сторону... Бедная, бедная Россия!..

Думая это, он молчал, предоставляя Левенвольду высказываться и развивать свои планы. Он думал: «Поговорю завтра с дядей, что он скажет. Он хоть и не терпит Бирона, но не думаю, чтобы согласился на такой переворот, отдающий всю Россию в руки Остермана». В это время они ехали мимо Летнего дворца. Был пятый час перед рассветом. Андрей Васильевич выглянул в окно.

«Что это такое? – подумал он. – Что-то особое у герцога. Ворота на дворе растворены; в сад тоже; одна половинка последних даже сбита с петель и висит только на одном крючке; часовых нигде нет! Два окна в комнатах принца Петра выбиты, к одному приставлена лестница; один из фонарей у подъезда разбит».

– Что это значит, граф? Посмотрите! Здесь что-то случилось! – сказал князь Андрей Васильевич, перебивая расхажившего в своих предположениях Левенвольда и говорившего в это время о близком союзе с цесарским двором.

Левенвольд взглянул и тоже изумился.

– Да! – сказал он. – Это тем удивительнее, что я уехал от герцога после полуночи и ничего подобного себе нельзя было даже представить.

– Не признаете ли, ваше сиятельство, целесообразным разузнать? – спросил Андрей Васильевич.

– Действительно, я думаю, нужно! Что это такое в самом деле?

Карета остановилась, и они вышли. Левенвольд приказал верховому спешиться и вместе с лакеем идти за ними. Они вошли в растворенные двери главного подъезда. Не было видно ни зги. Левенвольд приказал человеку взять из кареты фонарь и принести. Между тем Зацепин, пробираясь ощупью к лестнице, поскользнулся и наткнулся на что-то мягкое, живое... Он наклонился, ощупал руками и понял, что у него в ногах лежит женщина.

Принесли фонарь. Андрей Васильевич взглянул и вскрикнул.

Перед ним, вся облитая кровью, без чувств и почти раздетая, лежала принцесса Гедвига.

– Что вы там такое нашли, князь? – спросил Левенвольд.

– Убийство! Здесь убийство! – вскрикнул Андрей Васильевич. – Смотрите, убита принцесса Гедвига! Взгляните, разбита вся! Ужасно!.. Боже мой, что это? Однако ж она тепла, может быть, жива! Боже мой, боже мой! Помогите, граф, что же это такое?

Левенвольд молчал. Он видел, что случилось действительно что-то ужасное; случилось что-то, что шло прямо вразрез тому, что он предполагал. Вокруг не было видно ни одного слуги; караул ушел; все раскрыто и брошено, будто после землетрясения... Ясно, что случилось что-то особое, но что?

Совместными усилиями они подняли Гедвигу на руки, донесли до гостиной и положили на диван. Андрей Васильевич с дозволения Левенвольда послал его вершника за доктором Листениусом и велел захватить в дом его дяди приказать как можно скорее приехать людям и экипажу.

– Где же герцог, герцогиня, люди?

Предшествовавшие лакеем с фонарем в руке и зажигая попадающиеся на пути их шандалы и свечи, они шли по дворцу. Везде было заметно, что происходила борьба. Ковры были перепачканы и помяты; то в том, то в другом месте встречались опрокинутые кресла, сдвинутый с места стол, сдернутая салфетка, разбитая ваза или что-нибудь, что явно указывало, что случилось нечто ужасное, нечто такое, чего никто не ожидал...

Левенвольд шел вперед, судорожно дрожа. Он видел, что произошла катастрофа, неожиданная и прямо противоположная той, на которую он рассчитывал, которой желал; он видел, что произошло что-то, что опровергало все его надежды; что затем, может быть, и сам он стоит под ударом молота, и этот молот обрушится, может быть, сегодня же, сию минуту... Мысли его были смутны; Левенвольд озибался и молчал. Андрей Васильевич бессознательно следовал за ним. Вдруг ему пришло на мысль: «А что Гедвига? Она там одна; может опомниться,

испугаться. Притом не нужно ли ей хоть водою голову смочить, хоть обмыть раны. А какое мне дело до герцога и всей этой возни и суеты?» Он живо повернулся, схватил один из шандалов и побежал к Гедвиге. Ему удалось где-то найти воду. Он помочил ею свой носовой платок и приложил к головке Гедвиги.

Заметив большое синее пятно в верхней части груди, прошибленный затылок, потом сильный ушиб у виска, из которого еще сочилась кровь, он догадался, что, вероятно, она получила сильный удар в грудь, от которого упала навзничь и полетела с лестницы, ударяясь о ступени.

Не имея под руками ничего, кроме воды, он хотел облегчить ее страдания, прикладывая к ней это единственное находившееся в его распоряжении средство.

Но и для этого у него не было ничего, кроме платка и кружев на манжетах и воротнике. Платок лежал уже на головке Гедвиги. Оборвав и намочив кружева, он положил их на проломленный висок. Нужно было еще что-нибудь. Оглянувшись, он увидел опущенные шторы. Он сейчас же сорвал одну из штор, разорвал ее и стал прикладывать воду к ушибам Гедвиги, примачивать и обмывать их, стоя на коленях и целуя ее омертвелые руки.

– Лизетта, Лизонька, – говорил он, – опомнись, пробудись! Тебя зовет твой Андрей, любящий тебя Андрей. Милое, доброе дитя! Какой изверг поднял на тебя руку? За что он мог желать тебя обидеть, когда ты никого в жизни не обижала и целому миру желала только добра? За отца? Но ведь он не отец тебе. Так за что же, за что? – И он опять целовал ее руки, ее головку, вглядывался в ее нежное, смугленькое и словно сквозное личико, покрытое мертвенною бледностью, тем не менее отражающее бесконечную доброту и нежность. – Проснись, родная моя! Голубушка моя! – говорил он, смачивая ее губки водою и покрывая их поцелуями. – Обрадуй, взгляни! Дай мне посмотреть в твои милые, добрые глазенки.

Но Гедвига лежала без чувств. Взглянув в комнату позади гостиной, Андрей Васильевич увидел лавандовую воду для курения. Он схватил ее, намочив ею кусок шторы, и поднес этот кусок к носику Гедвиги; другим куском он стал натирать ее виски.

А Левенвольд, предшествуемый лакеем с каретным фонарем в руках, все шел вперед.

Вот он перед бывшей запертой, что видно по замку, но раскрытой настежь дверию, перед разбитым зеркалом и оборванными занавесами алькова. Вот кровать, избитая, измятая... Видно, что на ней спали и что потом здесь происходила борьба – борьба не на жизнь, а на смерть. Вот на простыне кровь.

«Неужели они убили его? Наконец, куда же они девали его труп? Мертвый он был не опасен, зачем же они его унесли?..

Где герцогиня?... И кто велел, по чьему приказу?... Принц Антон не велел, я это знаю. Кто же?... Что это не народное волнение, не взрыв страстей черни – это очевидно. Повреждения во дворце слишком ничтожны, чтобы можно было видеть в них ярость толпы; да и в городе, когда они ехали, все было спокойно, а народные волнения не успокаиваются так скоро. Нет, это нападение нечаянное, нападение врасплох, но нападение дисциплинированное, совершенное твердой и искусной рукой. Это правительственное распоряжение... Но от кого и в пользу кого? И кто мог так решительно и дерзко его выполнить?... Принцесса? Но она сама не могла бы ни придумать, ни организовать. Разве Миних? – И Левенвольду вдруг стало ясно: и двойной визит Миниха, и его особая любезность, и скорое согласие на принятие гетманства, и намеки на принца Антона. – Да, только он мог это сделать. Он с Юлианой Менгден, родной сестрой жены его сына, убедили принцессу приказать, – и она приказала то, что они ей продиктовали».

Едва это пришло Левенвольду на мысль, как ему представилась сейчас же Анна Леопольдовна, торжествующая, царствующая. Он вздрогнул и сказал себе:

– К ней, в Зимний дворец! Она теперь восходящее светило. Он мгновенно повернулся и скорым шагом пошел назад. Но не успел он сделать несколько шагов, как из-за какого-то угла вышла и стала перед ним женщина в одной рубашке и в туфлях на босу ногу.

– Граф, спасите нас! Не давайте убивать его! Вы знаете, вам он всегда был друг. Заступитесь! Прикажите?

Левенвольд взглянул на нее. Это была герцогиня Бенигна Бирон.

– Что с вами, герцогиня? Где герцог? Что случилось? – спрашивал Левенвольд, изумленный появлением герцогини.

– Они пришли, прибили, схватили! Они связали его; меня избили, смотрите... а его унесли, куда – я ничего не знаю. Я бежала было за ним, но меня схватил солдат и привел к Манштейну; тот велел увести назад во дворец, а солдат вместо того ударил меня в лицо и бросил в снег. Я сама не знаю как, при помощи какого-то офицера добралась сюда. Помогите, граф! Вспомните нашу хлеб-соль, наши одолжения! Припомните: проиграетесь вы, кто вам помогал? Нужно что, кто вас поддерживал? Мой муж! Он везде за вас был.

Все это Бенигна говорила в позе просительницы, убеждая Левенвольда и стараясь вызвать в нем воспоминания и чувство благодарности. Но у таких людей, как Левенвольд, благодарность является обыкновенно только тогда, когда она выгодна. Он взглянул на нее с видом, вовсе не выказывающим сочувствия.

Старая, рябая, с всклокоченными волосами, в одной рубашке, не скрывающей черной, сухой, морщинистой груди и какой-то заскорузлой шеи, она показалась Левенвольду отвратительной.

«Экую красавицу навязала ему государыня в жены!» – подумал он и постарался поскорее пройти мимо, бормоча что-то себе под нос, вроде того: «Я готов... что от меня зависит». Но потом вдруг он подумал: «Ведь она, может быть, и нужна им будет. Она, может быть, для них опасна. Ведь они оставили ее, не подумав; оставили так, сгоряча. С моей стороны будет заслуга перед ними, если я ее удержу».

В этих мыслях, проходя мимо двери, он запер ее на ключ и приказал человеку, несшему фонарь, обойти и запереть двери со стороны уборной. Герцогиня, не ожидавшая такой выходки от Левенвольда, очутилась под замком. Она стала стучать и кричать; но Левенвольд, не обращая на это внимания, забыв и о Гедвиге, и о своем новом приятеле, молодом князе Зацепине, поспешил скорее в Зимний дворец поклониться восходящему светилу.

Между тем Гедвига, освеженная стараниями Андрея Васильевича, начала понемногу приходить в себя.

– Где я? – тихо спросила девушка, обводя глазками комнату и останавливая их на Андрее Васильевиче. – Разве я не умерла? Разве я не убилась, когда этот жестокий человек ударил меня за то, что я хотела видеть своего воспитателя, хотела видеть того, кого столько лет называла своим отцом и кто называл меня дочерью?... Это ты, Андрей? Ты, мой милый! Ты мне воротил жизнь, ты опять призвал ко мне душу мою... Для тебя я хочу жить. И жизнь моя, и душа моя будут твоими! Возьми их, они и теперь твои. Без тебя они мне не нужны. Ты один радовал меня, один утешал бедную девушку-сироту, один заставлял ее забывать потерю своей матери, заставлял ее улыбаться в то время, когда она еще лежала на столе. Поэтому знай, что я живу и дышу для тебя. Подойди ко мне, мой милый, милый! Дай мне руку твою, она возбуждает во мне тепло, дает жизнь; поцелуй меня! С этим поцелуем я вся и навсегда твоя!

Но головка ее опять склонилась на сторону, глазки закрылись, и она опять впала в беспамятство.

Приехал доктор Листениус, прибыли и люди Андрея Васильевича, Федор и Гвозделом; доложили о приезде кареты, верховых. Доктор начал исследовать больную, стал трогать, слушать, изорвал ее рубашку и кофту, чтобы осмотреть ушибы. Она иногда стонала, но не приходила в чувство.

Андрей Васильевич отошел к окну и ждал ни жив ни мертв.

Наконец доктор кончил, уложил ее и покрыл ковровой скатертью, снятой тут же со столика. Устроив все это, доктор задумался.

– Ну что, доктор? – спросил Андрей Васильевич с трепетом, подходя к больной и смотря на нее с невыразимым сочувствием и сожалением.

– Что? Как вам сказать? Ушибы чрезвычайны, но дело не в них. С ними, Бог даст, справимся. Но чего я боюсь и чего пока в этом положении исследовать невозможно... между тем, по некоторым данным... чего я очень опасюсь... не переломлен ли у нее спинной хребет.

– А тогда, доктор, а тогда? – со слезами на глазах спросил Андрей Васильевич.

Доктор пожал плечами.

– Во всем воля Божия! – сказал он. – Увидим! Вперед ничего нельзя сказать. Вот я пишу, прикажите давать и прикладывать по указанию. Да что же случилось? Где герцог? Герцогиня? Что все это значит?

Андрей Васильевич не слушал этих вопросов. Он думал о своем.

– Боже мой, в ее лета!..

– Не приходите в отчаяние, ведь мы еще ничего не знаем. Где герцог?

– Я ровно ничего не знаю и не понимаю. Я нашел принцессу внизу лестницы, как видите, совершенно разбитую.

Вошел адъютант Миниха, капитан Кенигфельс. Он объявил, что ему приказано герцогиню Бенигну и принцессу Гедвигу отвезти в Невский монастырь, куда отправили герцога до распоряжения.

Напрасно доктор восставал против такой отправки, заявляя, что принцессе Гедвиге такой переезд может стоить жизни; напрасно убеждал Кенигфельса и Андрей Васильевич, вызываясь ехать к фельдмаршалу и принцессе Анне, – Кенигфельс был неумолим.

– Приказано сию минуту отправить, я сделать тут ничего не могу! – говорил он.

Одно, на что наконец уломал его Андрей Васильевич, это чтобы он позволил отвезти ее в карете Андрея Васильевича, но с тем, чтобы его карету конвоировали два, назначенные Кенигфельсом, унтер-офицера. Андрей Васильевич вынужден был на все согласиться. Он, по крайней мере, мог принять меры, чтобы перевозка дорогой и милой ему девушки была для нее возможно менее беспокойна и вредна. Андрей Васильевич, уложив ее в карету, провожал до монастыря сам, верхом на лошади, которую взял у одного из своих верховых. Отправляясь в монастырь с Гвозделом, который поднимал принцессу, будто восьмимесячного ребенка, Андрей Васильевич приказал Федору сыскать женщину, способную ходить за больной. К этому приказанию он прибавил магические слова, что он за все платит, и велел везти эту женщину как можно скорее в монастырь. Так как карета ехала шагом, то Федор встретил их в монастыре уже с женщиной. Эта женщина была известная читателю подруга Елпидифора Фекла Яковлевна.

– Где же герцогиня? – спросил у Кенигфельса Листениус, когда Гедвигу унесли.

– Здесь! – отвечал Кенигфельс, играя ключом, который дал ему Левенвольд.

– А герцог?

– Арестован фельдмаршалом.

Листениус только раскрыл рот от удивления и не сказал ни слова. Он помнил, что тогда было небезопасно говорить.

Возвратясь домой и идя к себе, Андрей Васильевич встретился с дядей, который выходил из его комнаты.

– Помилуй, где ты пропадаешь? – сказал князь Андрей Дмитриевич. – И в каком ты виде: весь оборван, перепачкан; скажи, что с тобою?

– Ничего. Провожал в Невский монастырь принцессу Гедвигу.

– Ты, друг, с ума сошел. Сочувствие к падшим считается преступлением. Скорее во дворец, поклониться восходящему светилу, а потом к Миниху! Теперь это сила.

– Но, дядюшка, неужели же мне можно было оставить ее на лестнице, разбитую до беспомощности, как я ее нашел?

– Понимаю, что тяжело, и тебе, как Зацепину, это было невозможно, хотя бы пришлось потом вынести за это пытку.

Но... но, во всяком случае, не политично. Теперь герцог и все, кто к нему близок, опаснее чумы. Впрочем, нужно сказать правду, близких-то к нему нет никого. Нет человека, который бы его пожалел. Недаром своя своих не познаша и немцы на немцев пошли!

– А вы знаете, дядюшка, что то, что сделал неожиданно Миних, – затевал Остерман. Мне сейчас только Левенвольд рассказывал...

– Об этом после поговорим, а теперь снаряжайся скорее во дворец, дело спешное, очень спешное!

И дядя оставил племянника одеваться.

Зимний дворец, несмотря на раннее утро, был ярко освещен. Принцесса Анна Леопольдовна принимала поздравления. Она на этот раз не поленилась надеть свое платье с выпуклыми цветами по золотому полю, с пурпуровой бахромой, Андреевскую ленту с бриллиантовой звездой и бриллиантовую диадему. Разбудили принца. Принц пришел тогда, когда дворец был уже полон поздравляющими. Послали за Остерманом, но тот, ничего не зная, отозвался было болезнью. Тогда Миних позвал генерала Стрешнева.

– Поезжай, батенька, к своему шурину, – сказал он, – скажи ему, что бывают обстоятельства, когда всякую болезнь прогнать нужно. А тут обстоятельство важное. Скажи: медведя свалили, нужно шкуру делить; а на медведя, если хочешь, посмотри внизу, вот он тебе покажет. – Говоря это, Миних указал на Манштейна.

И Остерман приехал. Стрешнев передал ему, что он видел герцога, связанного, в солдатской шинели, лежащего на полу в нижнем этаже Зимнего дворца, в комнате за караульной. Войдя в залу, где принимала принцесса, Остерман переглянулся с принцем Антоном, как бы говоря: «Видите, я предугадывал, что этот Миних опасный, очень опасный человек. Смотрите, берегитесь его!»

Но еще прежде Остермана, на своих коротеньких ножках и склоняя свою несоразмерно большую голову, подбежал к принцессе князь Алексей Михайлович Черкасский.

– Матушка, законная и всемилостивейшая наша повелительница, поздравляем, от всего сердца поздравляем! Такую радость дозволю отпраздновать? Удостой праздник наш твоим присутствием.

За Черкасским шел следом граф Михаил Гаврилович Головкин. Он больше года не выходил из кабинета по случаю болезненности и чувства неудовольствия, что его не назначили в кабинет-министры, на место его умершего отца. Он выпросил у Бирона дозволение отправиться за границу для излечения своей болезни, потому что боялся, по нерасположению к нему Бирона, отправки в свои деревни, а может быть, и еще чего-нибудь худшего. Бирон выказывал ему видимое неудовольствие, и Головкин мог от него ежеминутно ожидать себе всего дурного. Теперь другое дело. Правительницей стала Анна Леопольдовна, близкая ему по матери; поэтому он, разумеется, теперь не захочет оставлять России и выздоровел почти моментально. За Головкиным шел Остерман. В то время как Остерман начал свою приветственную речь, Миних исчез. Он поехал составлять список наград и новых назначений. Он хотел подготовить этот список без влияния Остермана. В это время приехали князья Зацепины, дядя и племянник.

– А, дядюшка! – весело приветствовала князя Андрея Дмитриевича новая правительница, протягивая ему свою руку, которую тот поцеловал. – Я счастлива, что могу приветствовать именем дяди вас, а не того зверя, которого я так боялась. Притом же ведь вы мне в самом деле дядя, а тот... Ну, скажите по правде, какое он имел право, какие оказал услуги? Не правда ли, я хорошо сделала, что приказала его арестовать?

– Восходящее солнце всегда делает хорошо, когда поднимается из тумана вод, ваше высочество! – метафорически отвечал князь Андрей Дмитриевич с улыбкой тонкого придворного. – Душа вашей тетюшки, царевны Прасковьи Ивановны, моей благодетельницы, теперь молится о вашем счастье!

– Да! Но скажите, у нее и у вас, князь, говорят, была дочь; скажите, где она? Жива ли?

– Воспитывается в Париже, ваше высочество, обеспеченная вполне милостью вашей тетюшки, покойной государыни! Она ни в каком случае не желала, чтобы ребенок оставался в России, и я должен был уступить ее настоянию.

– Это все было дело зверя! Но мы это переделаем, не правда ли? Ведь мы переделаем?

– Это будет зависеть от воли и милости вашего высочества! – И Зацепин откланялся. За дядею шел с приветствием племянник.

Правительница улыбнулась ему своею особой, партикулярной улыбкой, сберегаемой ею только для тех, кого она хорошо знала, кого причисляла к своим и к кому выходила иногда в платке и душегрейке.

– А, граф! Ну, право, я бы вас сделала графом, если бы вы не были князь! Вы ведь рады, что меня не будет сторожить этот зверь и что я не буду дрожать от того, что подумаю: «А вдруг он придет!»

– Все радуются принятию правления вашим высочеством, в надежде, что прекратится та тирания, которой все, преданные вашему высочеству, должны были ежечасно бояться!

– Ах да! Пошлите же к Ушакову, чтобы он не мучил Семенова и Граматина и всех тех, кого терзали по приказанию того зверя за меня, и чтобы всех их привели ко мне! А вы, граф, ведь придете вечером к Юлиане поиграть с нами в карты?

Молодой Зацепин откланялся. В это время входил сам страшный Ушаков; за ним шел Альбрех; а позади, в другой зале, виднелись измученные лица Ханыкова, Аргамакова, Алфимова, Пустощкина, Семенова и Граматина, мучимых на пытке, по приказанию Бирона, за преданность Анне Леопольдовне.

Было уже совсем утро, когда во дворец приехала цесаревна Елизавета Петровна. Несмотря на то что принцесса как-то чопорно и натянуто взглянула на нее, цесаревна бросилась к ней на шею.

– Моя милостивая государыня, всемилостивейшая моя покровительница, поздравляю, поздравляю! Ведь он всем нам враг был! Всем делал только зло! Пусть же зло это на нем и отзовется! Пусть на себе он испытает... А я надеюсь на милость вашего высочества, на ваше покровительство...

Цесаревна плакала на груди правительницы. Этими слезами, этой покорностью и беззаветной искренностью она успела рассеять всякое предубеждение, всякое сомнение принцессы Анны Леопольдовны. Глаза ее тоже увлажнились, натянутость исчезла, и она с искренностью взглянула на цесаревну.

– Не правда ли, тетя, ведь мы будем любить друг друга, будем сестрами, будем помогать одна другой? – спросила она.

И они замерли обе во взаимном сердечном поцелуе.

Приехал сын Миниха, обер-гофмейстер принцессы, и привез манифест о принятии на себя регентства принцессой и список наград и назначений. Принцесса, не задумываясь, все утвердила.

– Антон! Я тебя назначаю генералиссимусом! – сказала она.

А принц, переглянувшись с Остерманом, не нашел для себя лучшего занятия, как усесться в амбразуре окна и перебирать палочки китайского кастета; благо, тогда эта пустая забава была в моде.

Скоро прибыл и герой дня, фельдмаршал Миних. Действия нового правительства начались прежде всего смягчением положения арестованного за безусловную преданность Бирону

кабинет-министра Алексея Петровича Бестужева, к которому Миних послал Манштейна, чтобы его успокоить.

Остерман все это время молчал, принеся поздравление и благодарность за пожалование его генерал-адмиралом флота, хотя из всего морского словаря он помнил только одно слово «шканцы», и то потому, что когда он для получения средств прибыл в Россию, нанялся к вице-адмиралу Крюйсу быть его камердинером и секретарем и, раздевая вице-адмирала, вынес на шканцы его вице-адмиральские сапоги, то был крепко выруган за то вахтенным офицером, с строгим внушением об уважении к шканцам. Но, разумеется, это нисколько не мешало ему думать, что он принесет пользу русскому флоту, вероятно, прежде всего тем, что будет получать генерал-адмиральское жалованье. Когда принц Антон, позабавясь вдоволь своим кастетом, подошел к Остерману и спросил: «Что же мы будем теперь делать?» – то Остерман с лаконической краткостью ответил ему: «Ждать!»

Левенвольду не приходилось ждать; за услугу, которую он оказал, наложив свою руку на герцогиню Бенигну, он не остался без награды. Велено было заплатить его долги, и он сохранил свое положение, хотя и не стал политическим человеком. Кабинет-министром вместо Бестужева назначили не его, а Головкина.

Миних добился своего. Он был первый министр и, по видимой неопытности и неспособности к правлению принцессы Анны Леопольдовны, мог считать себя главой империи. Но не один он это думал. Когда молодой Зацепин, обласканный принцессой и приглашенный в ее интимный кружок, счел за обязанность осыпать любезностями и ее ближайшую и неразрывную наперсницу Юлиану, или Юлию Густавовну Менгден, то та между разговором вдруг вздумала его спросить: «А довольны ли вы, что мы теперь правительство?»

И все это делалось и говорилось именем императора Иоанна III, который мирно спал, убаюкиваемый своею кормилкой, молодой и здоровой новгородской крестьянкой, сидевшей подле него, качавшей люльку и напевавшей ему колыбельную песенку:

Приди, котик, ночевать,  
Приди Ванечку качать!  
Я за то тебе, коту,  
За работу заплачу!  
Дам кувшинчик молока  
И кусочек пирога!  
Приди, котик, не стучи  
И Ванюшу не буди!  
Ваня станет подрастать,  
Будет царством управлять.

В тот же день вечером слышалась другая колыбельная песня. За оградой Невского монастыря, в тесной и душной келье из двух комнат, со сводами и с железными решетками в окнах, – келье, замкнутой наглухо и окруженной строгим караулом, больная, разбитая, с поврежденным позвоночником, вся в пластырях и перевязках, сидела в креслах принцесса Гедвига перед своими названными отцом и матерью и старалась их утешить.

Подле кресла Гедвиги стояла арфа, пюльцы и столик с рабочим несессером, книгами, нотами и некоторыми мелкими вещами, присланными ей, с дозволения правительницы, цесаревной Елизаветой Петровной. Одна из книг была раскрыта. Гедвига перед тем только что читала ее, чтобы чем-нибудь рассеять, чем-нибудь развлечь пораженного и расстроенного ее воспитателя.

Выбор чтения был как нельзя удачнее. Это была легенда, хроника, сказание об одном благородном рыцаре, бывшем графе и владельце имения, которое герцог недавно купил в Силе-



зии, Конраде Вартенбергском и его славных подвигах на защиту христианства и распространение слова Божия.

Действие происходило во времена саксонского герцога Генриха Льва и его борьбы с вендскими и славянскими городами.

Гедвига читала эту хронику своим задушевым голосом в надежде обратить печальные мысли своего воспитателя в другую сторону, возбудить в нем надежду на лучшее будущее и охранить от того ожесточенного отчаяния, в котором он находился. Побеждая чувствуемую ею боль и свои личные материальные и нравственные страдания, она старалась вызвать в нем чувство снисходительности, терпения и покорности судьбе, с какими Конрад Вартенбергский переносил свои страдания. Бирон молчал. Он слушал, прерывая иногда чтение малодушным стоном, чувствуя боль от ушибов и ссадин, полученных им в драке с арестовавшими его солдатами. Эти ушибы и ссадины он примачивал, натирал разными мазями и прикладывал к ним компрессы. Вдруг, в ту самую минуту, когда Гедвига читала описание великодушных чувств Конрада, прощающего своих врагов, Бирон изо всей силы ударил кулаком по столу, так что в келье все задрожало.

– Точно, точно, я виноват! – вскричал он. – Я был слишком мягок, слишком снисходителен! Всех бы их колесовать нужно было, начиная с Ушакова и Остермана; всех следовало бы на виселицу!.. Тогда бы они боялись, тогда бы не смели!.. Пусть теперь попадут в руки, я им покажу! Я сделаю...

Потом он стал говорить о своих заслугах, о пользе, которую он принес. Послушать его, так Россия не умерла с голоду только благодаря ему; наконец, не сгинула от беспорядков и неурядицы только потому, что он принимал против того надлежащие меры... И вот, несмотря на эти заслуги, вследствие его снисходительности, он схвачен, он арестован. О Миних! Мало было его колесовать, его нужно было живым сжечь, на мелкие куски изрубить, а он... Теперь я в их власти. Что они со мною сделают? Что сделают? И он плакал от страха при мысли, что будет с ним завтра.

В то же время его бесцветная супруга, его Бенигна, всегда хвалившаяся перед мужем своей бескорыстной преданностью, теперь рассыпалась в жалобах и стенаниях. Она теперь валила все вины на него, во всем был виноват он! И она тоже стонала и плакала.

– Всю жизнь мою я пожертвовала тебе! – говорила она. – Разве я не могла выйти замуж действительно? Разве я не могла кого-нибудь полюбить и быть счастливой? Нет, я от всего отказалась, всю себя отдала тебе, оберегала тебя. И вот за то в награду тюрьма, ссылка, а может быть, еще пытка, мучения, казнь! За что? За что?

И она уже упрекала его, и угадает ли читатель, за что? За излишнюю снисходительность и слишком нежное сердце.

А в глубине картины, в углу, стояла, повязанная платочком и до некоторой степени прифранченная, известная нам Фекла Яковлевна, бывшая подруга Елпидифора, начетчица и сектантка, допущенная находиться при больной принцессе по настоянию доктора Листениуса и по ходатайству князя Андрея Дмитриевича, та самая Фекла Яковлевна, которая говорила про себя, что она ничья, а Божья!

### III

## Граф Линар

Время шло. Бирона со всем семейством перевели из монастыря в Шлиссельбургскую крепость. Над ним назначили суд, и он понимал, что вопросы, которые ему предлагают, представляют не более как только одну обрядность, он понимал, что судьба его предрешена без всякого суда. Но не радовался и Миних, не на пользу себе он устроил это дело. Правда, его сделали первым министром, всем управлять дали; но управление-то его было зависимое, подчиненное. Всякое предположение должна была утвердить правительница; а не любившая заниматься и не входившая ни во что правительница любила делать по-своему, а главное – любила слушать его врагов, которые, разумеется, во всем поперек шли. Это бы ничего, да в числе врагов его был всепреданнейший, покорнейший и всенижайший граф Андрей Иванович Остерман, который тонко, хитро и без шума умел подводить мины, да в таких местах, где никто и ожидать не мог! Поневоле нужно было держать ухо востро, быть всегда наготове ко всему. Какое же тут царство, когда все время дамоклов меч висит? Великая княгиня – так правительница велела величать себя – своего мужа не любила и не уважала, но она носила его имя; все же он был ее муж, и всякая обида, ему сделанная, неминуемо относилась к ней. А принц Антон беспрерывно жаловался на обиды, получаемые от первого министра, то по званию генералиссимуса, то по положению отца государя и мужа правительницы. Потом, кто же не знает, что у страха глаза велики; а враги Миниха успели представить правительнице дело таким образом, что он возбуждал страх. Если он, находясь почти вне управления, когда от него почти ничего не зависело, мог в несколько часов свергнуть Бирона, так что тот из самодержца стал арестантом, то кто помешает ему повторить ту же историю в то время, когда он первый министр, когда от него зависит все и он располагает силами целой империи. Это человек опасный, не бояться его нельзя. Неизмеримое честолюбие его заставляет всего ожидать от него... Вот он захворал.

«Хорошо, если умрет, – думает правительница, – а если выздоровеет? Быть под опекой такого человека, да это хуже, чем Бирон! Тот, правда, бранился, а этот молчит. Но зато он умнее, решительнее! С ним, пожалуй, и не увидишь, как попадешься в положение Бирона. А тут и чертушка жив, и цесаревна Елизавета в своем черном платье и гордой красоте является укором всему прошлому».

Миних выздоровел, но чувствовал, что почва уходит из-под его ног, что чувство благодарности, на которое он имел право рассчитывать от принцессы, слишком слабая опора для человека, против которого все.

«Нужно, чтобы кто-нибудь и мою сторону держал! – думал Миних. – Только кто же? Сын! Он гофмейстер правительницы, пользуется ее доверием и расположением, наконец, женат на родной сестре ее ближайшей подруги и наперсницы Юлианы Менгден; но сын... Он добрый, милый, послушный, честный, но он такой тюфяк, такой цирлих-манирлих, что решительно не может и сам себя держать на твердой ноге, не то что кого-нибудь поддерживать. У него, кажется, можно кофе из-под носа унести, и он не увидит; можно очки с носа снять, а он все будет философствовать. Вот недавно он меня уверял в беспредельной ко мне любви Остермана и благосклонности принца Антона. Не понимает он того, что Остерман от беспредельной своей любви меня бы в ложке утопил, если бы мог; а принц Антон, правда, с чужого голоса, но думает, что я у него свет из глаз отнял. Да! Непрактический человек мой сын, слишком немец, чтобы на что-нибудь годился!.. Вот разве брат, – продолжал рассуждать Миних. – Постоянный партнер правительницы, ее интимный собеседник... Но он, кажется, весь ушел в ломбер и мушку и даже думать о чем-нибудь забыл, кроме тех пятачков, которые он проигрывает или выигрывает в пустой домашней игре. Я как-то стал ему говорить о выгодах прусского союза и предложениях прусского короля, а он меня перебил тем, что вот раз ему пришел на руки

король, дама, сам-третей... Нет, не рука!.. Разве Юлиана?.. Но и она нынче на меня что-то косо смотрит, будто кошка между нами пробежала. И почему? Разве принцесса сказала ей, что когда она хотела подарить ей пятьдесят тысяч на устройство подаренной ей мызы Обер-Пален, то я убедил ее ограничиться десятью... Вот разве молодой Зацепин, если ему удастся заставить забыть Линара, – этот ловок!

Он сумеет поставить себя, сумеет всякую махинацию разбить. И пожалуй, ему пока выгоднее держаться меня, зато потом... Ну, да что будет потом, мы увидим, а теперь нельзя не обратить на него внимания, очень, очень сближаться начал... И как это они не подумают, что ведь я их единственная опора, – рассуждал Миних, – что я все прикрою, все предотвращу. Уйду я, и они, пожалуй, года не продержатся. Тот же Бирон, если они не успеют ему голову снять, из-под земли явится и им шею свернет... Но что же делать? Насильно мил не будешь. Надоело их беречь да от них же и неприятности получать. Поеду к себе в Гостилицы сажать репу. Это лучше будет! Пусть себе сами повозятся, тогда увидят и, пожалуй, ко мне же кланяться придут!.. А на Зацепина нужно обратить внимание... большое внимание делать следует...» – заключил Миних, собираясь ехать к принцессе Анне Леопольдовне с докладом о своей отставке.

И точно, князь Андрей Васильевич, руководствуемый и напутствуемый советами дяди, которого Анна Леопольдовна без всякой церемонии величала своим дядюшкой, заставлял говорить, что «внимание делать следует». Он сближался с принцессой заметно. Она уже не называла его графом, которого, видимо, начинала забывать. Он был ежедневным гостем или у нее, или у Юлианы, и, видимо, гостем приятным. Когда он опаздывал, принцесса беспокоилась; когда он был на службе, она скучала. Семейство Миниха, окружавшее принцессу и Юлиану Менгден, видимо, его поддерживало. Приезд Линара не мог быть для них желателен, так как Линар, естественно, был бы горячим противником прусского союза, за который стоял фельдмаршал; стало быть, Линар неминуемо должен был стать их врагом. Зацепин другое дело. Он пока не имел значения в политике, стало быть, отнесется к предположению о таком союзе совершенно безучастно. Косо смотрел на сближение с правительницей молодого князя Зацепина граф Андрей Иванович Остерман. Даже на праздник князя Андрея Дмитриевича не поехал, хотя Андрей Дмитриевич давал праздник в своем загородном доме на Аптекарском острове, по секрету от племянника, под таинственным наименованием «купанье нимф». Андрей Иванович куда как любил такого рода праздники Андрея Дмитриевича и никогда не манкировал ими. Бывало, полумертвым себя везти велит. Но теперь какой тут праздник, когда фавора добиваются, в Бироны лезут, с Минихами одну игру ведут! Положим – не дядя; да ведь черта в ступе не разберешь: дядя ли учит племянника или племянник мутит дядю? Черт все остается чертом, как его ни малюй. Войдет в фавор этот мальчишка, русские вперед полезут. Пойдут Белозерские да Вадбольские, как при блаженной памяти Петра II, когда Долгорукие силу взяли, пошли Голицыны да Головкины, а это нашим немцам не рука.

И точно, князь Андрей Васильевич становился к правительнице весьма близко. Заявляя, что он не любит карточной игры и садится играть исключительно, чтобы доставить удовольствие правительнице, когда недостает партнера, он имел неоспоримую выгоду передавать свою игру, как только являлся кто-нибудь, или, наконец, усаживать за себя Юлиану Менгден, как только принцесса не играла. На выигрыш или проигрыш он имел полную возможность не обращать внимания, так как игра была ничтожная. А освободясь от игры, он занимал Анну Леопольдовну, которая любила слушать его рассказы и всякий день все более и более увлекалась ими. Удивительно ли, что молодая женщина, которая до того не любила своего мужа, что запирала от него дверь своей спальни, увлеклась юношей, который настолько ловок, что даже французскую авантюристку умел заставить свернуть с намеченного ею пути?

Таким образом, успех сближения правительницы с молодым Зацепиным волновал и заботил все партии. Левенвольд, который жил и думал Остерманом, с ужасом вспоминал, что он имел неосторожность раскрыть этому мальчику все свои предположения и надежды.

Куракин готовился уже ехать в Париж, понимая, что для нового любимца будет необходимо придворное место. А как его давно уже, по наследству от отца, бывшего долгое время послом в Париже, предназначали туда, и он сам был не прочь туда ехать, то и нужно было каждый час ждать этого назначения. Вообще, все готовились к новому положению придворных партий. Да нельзя было и не готовиться. Вот сегодня Зацепина нет в Зимнем дворце, и, смотрите, правительница даже играть не села; видимо, беспокоится; раза два выходила из внутренних комнат в приемные залы; посылала даже узнать, не в карауле ли он. И прибавила, что она хочет князя Зацепина отчислить от полка и назначить адъютантом к генералиссимусу.

Начала было сомневаться: «Здоров ли он» – и успокоилась в этом отношении только тогда, когда Миних-сын сказал, что он сегодня утром видел его в манеже. «А если здоров, отчего же его нет? Уже девять часов!.. – Задавая себе этот вопрос, принцесса подумала – Неужели он к этой француженке поехал? – До ее сведения уже довели о связи, существовавшей между молодым Зацепиным и Леклер. – Не может быть! Он мне сказал, что всегда бросают мякинный хлеб, когда Бог пошлет счастье и судьба благословляет белым! Где же он? Юлиана посылала узнать: сказали, что его дома нет!»

Между тем Андрей Васильевич был дома. Он сидел в своих орлеанских комнатах в доме дяди, запершись от всех и приказав объявлять тем, кто его спросит, что его нет, что он уехал, исчез, умер. «Говорите, что хотите, только бы меня не беспокоили!» – сказал он Федору и не велел никого пускать.

Такое стремление к уединению было естественно. Он был слишком взволнован и слишком занят. Из Шлиссельбурга приехала Фекла и принесла ему вести о Гедвиге и письмо от нее. Двадцать раз по крайней мере перечитывал он это письмо, покрывая его поцелуями, и ему все казалось, что он его еще не прочитал, не понял, не усвоил, – и он начинал читать снова.

Он забыл все свои дела, забыл, что его ждут. Он все забыл! Он помнил только Гедвигу. Она мерещилась в его глазах... Разбитая, больная, лежит она в Летнем дворце на диване и говорит тихо, останавливая на нем свои добрые помутившиеся глазки: «Жизнь моя, душа моя... они твои, Андрей, они принадлежат тебе! Возьми их!»

Эти слова отзывались в его ушах, он вновь слышал их и снова перечитывал ее письмо.

В промежутках между чтением он или ходил по комнате большими шагами, или садился к столу и, опираясь на него локтями, о чем-то думал, опустив голову на руки. Потом вставал и начинал ходить снова.

Наконец, как ни старался он подражать дяде, как ни усваивал его понятия и взгляды, между прочим и ту недоступность к простым смертным, которой отличался князь Андрей Дмитриевич, до того даже, что не допускал себя никогда до разговора с прислугой, он не выдержал, велел позвать к себе Феклу и стал ее спрашивать подробно о том, что делала и как жила Гедвига.

Фекла, успевшая полюбить добрую больную, за которой ей пришлось ухаживать, охотно рассказала ему, как она, сама чуть живая, ходит за отцом и матерью, угождает им, развлекает, хоть те и мало обращают на это внимания, а все больше бранятся; говорила, как она служит им, читает, иногда поет. Вот для отца-то она по ночам сшила подушку из своего салопы, ему спать низко было; а матери связала кофту своими ручками; чтобы отцу не скучно было, выучилась в шашки играть, и как еще другая-то игра, что вместо шашек какие-то личины ставят. Потом Фекла поведала о ее доброте, терпении, говорила, что не жалуется она никогда ни на что, никогда не стонет, хоть и больно очень бывает, особенно когда на спину лубок накладывают. Но все с веселой улыбкой и ласковым словом переносит. «Ангел – не барышня, хоть кому скажу, – заключила Фекла, – да и ангелы такие на земле не бывают!»

А что в это время было с Бироном?

Услышав, что Миних теряет свой кредит при правительнице, он начинал понемногу успокаиваться. «Главного моего врага нет. Остерман, – думал он, – ну этот, разумеется, власти не уступит, но и не станет обременять себя бесполезным злодейством. Для него выгоднее меня постоянно в виде грозы держать! А что, если в самом деле именно в этих видах он решит меня в Курляндию отправить?»

И у него явилась надежда, слабая, конечно, но все же надежда. И он уже начинал создавать планы, как он будет управлять Курляндией, в случае если надежда его оправдается.

Раз вечером сидели они все вместе. Гедвига что-то вышивала, Бенигна роптала на судьбу, а Бирон высказывал свои предположения. Вдруг дверь отворилась, вошел Власьев.

– Вы должны приготовиться выслушать постановление суда! – сказал он. Все невольно побледнели.

Через несколько минут в их каземат вошел секретарь великой княгини-правительницы Семенов, с ним два ассистента и секретарь. Они заставили всех встать, а Бирона склонить свою голову и стали читать приговор.

– «По указу его императорского величества государя императора самодержца всероссийского Иоанна III комиссия верховного уголовного суда над бывшим герцогом курляндским и семигальским, регентом Российской империи Иоганном фон Бироном слушали...» – читал Семенов медленно и вялым голосом, останавливаясь на некоторых словах по недостаточной для его глаз разборчивости рукописи. В приговоре были прописаны все ответы Бирона, все возражения на эти ответы, показания посторонних лиц, объяснения и толкования, пока наконец дошло до заключительного «приказали», после коего началось то же изложение, только в сокращении.

Бироны стояли все ни живы ни мертвы. У герцога кровь то прилиwała к голове, то отливала к сердцу; он бледнел и краснел попеременно и весь дрожал. Семенов тем же монотонным голосом читал:

– «За таковые его продерзностнейшие и мерзкие поступки, небрежение к нашей особе, непристойную дерзкую похвальбу противу наших родителей и жестокие казни преданных нам людей приговаривается он...» – Семенов закашлял и остановился.

Все впали как бы в онемение; ждали лихорадочно последнего слова! У Бирона, казалось, остановилось биение сердца, в лице не было ни кровинки, руки дрожали... Но он стоял и ждал...

– «Приговаривается он, – откашлявшись, продолжал Семенов, – к смертной казни через четвертование!»

Гедвига и Бенигна вскрикнули. Бирон упал на месте без чувств.

Ни Семенов, ни Власьев, ни ассистенты не обратили на это ни малейшего внимания. Они ушли составлять свой протокол об объявлении приговора. Бенигна и Гедвига с герцогом остались одни.

Бенигна начала свой бесконечный ропот на свое злополучие, что, будучи ни женою, ни сестрою, ни другом, она должна теперь разделять несчастье чужого ей человека, воспитывать его детей, нести на себе всю тяжесть его участи. Она начала плакать, стонать, метаться и даже не подошла к своему омертвелому супругу.

Гедвиге пришлось возиться с отцом одной. Освежив его голову водой, она хотела было приподнять его, но не могла. Она растегнула ворот его рубашки, сняла галстук, натерла спиртом виски. Пришла Фекла и позвала тюремного сторожа. Вместе они уложили его в постель.

Когда он опомнился и вспомнил приговор, с ним сделалась дрожь; его начала мучить лихорадка, зубы стучали один о другой, и, вне себя, он представлял себе подробности казни, которую будут над ним исполнять.

– Боже мой, – говорил он, – да как это мучительно, да как страшно!.. Я видел казнь Волинского, нарочно инкогнито ездил смотреть... ему рубили только одну руку и голову, а мне, боже мой! отрубят сперва левую руку, поднимут, покажут народу; потом отрубят ногу, опять поднимут, покажут; тогда станут рубить другую руку и только потом уже голову... Господи, и все это нужно перенести, нужно пережить!.. Ужасно, ужасно! Отрубленные члены будут биться, будут страдать, а народ... народ, пожалуй, радоваться будет... Меня свяжут, и я буду ждать... Нет, я не могу, – вдруг закричал он, – я не в силах! Помогите мне! Бенигна, Гедвига, помогите! Да сделайте же что-нибудь! Убейте меня!

Бенигна давно уже прекратила свой ропот и со страхом глядела на мужа, Гедвига упала на колени и молилась. Ни та ни другая не находили слов для ответа и утешения и молчали.

Пароксизм лихорадки проходил, Бирон начинал успокаиваться, засыпать. Но и во сне его мучили мрачные, кровавые сновидения, от которых он стонал, кричал, плакал, вскакивая иногда в ужасе, облитый холодным потом. Чаще всего ему виделась отрубленная голова Хрущева, как она, уже поднятая палачом, повела на него своими глазами. Вот и у него!.. Может быть, сегодня, может быть, сейчас!.. И он ждал, каждую минуту ждал. «Вот они идут, идут сейчас! Идут, чтобы вести на мучительную смерть!.. Я не хочу умирать! – вдруг вскрикивал он, падая головой на стол и заливаясь слезами. – Я еще не стар, здоров! Я хочу, я должен жить! Я поеду в Курляндию. Я там герцог! Кто смеет убить герцога?» Но через минуту он опять стонал, опять плакал. Потом вдруг приподнимался, начинал прислушиваться... «Идут, идут, – говорил он полусшепотом. – Не отдавайте меня, ради бога, не отдавайте!» И он прятался в угол, будто в самом деле можно было куда-нибудь спрятаться... И опять ждал, каждую минуту ждал с ужасом.

Положение Бенигны и особенно Гедвиги во все это время было просто невыносимо. Они вытерпели в это время сотню смертей, по мере того как каждая из этих смертей представлялась в голове осужденного; а представлялись ему эти смерти ежеминутно и с осязательной ясностью представлений воображения маньяка. Он беспрерывно видел, как его ведут; как народ на него смотрит; как палач поднимает топор, рубит руку, ногу, опять руку и наконец голову. Он видел эту свою отрубленную голову, как она поводит глазами, смотрит на народ, который смеется, радуется, рукоплещет. Чему? Чему? «Моей смерти! Я не хочу умирать, не хочу! А они убьют меня!» И он опять плакал.

И так прошла целая неделя. Гедвига, вспоминая после эту неделю, с ужасом говорила, что она не понимает, как не сошла с ума.

Один вечер Бирон был несколько спокойнее. Ему пришло в голову, что, может быть, Курляндия станет ходатайствовать за своего герцога, и у него опять явилась надежда. Вошел Семенов, но без Власьева и ассистентов и объявил, что великая княгиня-правительница, несмотря на все вины и продерзости бывшего регента, заслужившего лютую смерть, по своему неизреченному милосердию облегчила казнь и приказала только «завтра отрубить ему голову».

Выслушав это объявление, Бирон безмолвно, вне себя, опустил на скамью. Бенигна зарыдала. Гедвига осталась без движения, не помня себя. Семенов улыбался ядовито, зло, видимо радуясь постигающей их каре.

Посмотрев на всех и полюбовавшись произведенным на всех ужасом, он вдруг засмеялся.

– Что, испугались? – сказал он. – Испугались! А не пугались, когда сами подписывали, сами на казнь отдавали? Ну, успокойтесь, пошутил, испугал нарочно. – Он позвал Власьева и ассистентов и прочитал другой приговор, которым Бирону со всем семейством назначалась ссылка и вечное заточение.

Все это было так неожиданно, шло так скоро один за другим, что сперва никто и не сообразил, что это такое. Но через минуту Гедвига опомнилась и начала горячо выговаривать Семенову за его неуместное пуганье, за жестокую шутку. Но Семенов не смутился от этих упреков. Он обратился к Гедвиге с своим тусклым взглядом и проговорил как-то медленно:

– Дорогая, милая моя барышня, вот вы упрекаете меня за жестокость, упрекаете, что я радуюсь вашему несчастью. Нет, хорошая барышня, вас-то мы все сожалеем, да делать-то нечего! А вашего батюшку и пожалеть грешно. Вот вы говорите: я жесток, шучу. А чем я жесток? Ведь вся и шутка-то только одни слова! А спросили бы вы, каково было мне, как он, тоже для шутки, велел мне кости ломать? Вон рука-то вывихнутая и теперь плетью висит! Это вот уже не слова были! Так, знаете, добрая барышня: какой мерой сам мерял, такой и отмеривается. Мы все обижены, что такому злодею милость оказали. Он не жалел наших голов, так и его головы жалеть было нечего. А вам, барышня, меня упрекать не в чем и не за что! У меня тоже есть дочь, и не одна, – живут моим трудом. Спросите, каково им было?.. Ну да дело не в том! Готовьтесь завтра к выезду. А тебе, красавица, больше здесь не место, – прибавил он, обращаясь к Фекле, которая стояла тут же. – Убирайся, пока цела!

С этими словами Семенов ушел, уведя с собой ассистентов и Власьева.

Бирон облокотился на стол и молчал. Слезы текли по его щекам. Он не замечал их. Местом ссылки его был назначен Пелым. Где это? Он знает, что где-то в Сибири, в Перми, на севере, в горах. Там он должен будет жить до смерти под надзором строгих тюремщиков. Миних своей рукой начертил план дома, назначенного ему вечной тюрьмой. Но все же он останется жив. Может быть, потом выпустят, может быть – убежит!..

Гедвига подошла к Фекле.

– Нас увозят, добрая Фекла, – сказала она тихо. – Ты уходишь от нас. Мне нечем тебя наградить. Но можешь ли ты взять от меня записку к князю? Он поблагодарит тебя, я в этом уверена.

– Пожалуйте, матушка, добрая княжна наша, да чтобы угодить вам, чего я не сделаю!

– Только как ему в руки доставить? Я не хочу, чтобы это письмо досталось нашим тюремщикам. А пожалуй, будут осматривать, найдут...

– Э, будьте покойны, матушка, спрячу туда, что и в жизнь им не добаться. Да и унтер-от тут из наших, так он и добираться-то очень не станет!

– Как из наших?

– Так! Уж это мое дело, матушка княжна, а вы уж будьте покойны, в действительности как есть князю Андрею Васильевичу предоставим!

– Так я приготовлю, а ты приди.

– Приду, приду! Чтобы угодить тебе, себя, кажись бы, не пожалела, а это что – наплевать! Не то Власьев, а хоть сам Ушаков приди, ничего не найдет!..

Это-то письмо и перечитывал много раз Андрей Васильевич. Оно было написано по-французски, но вот его буквальный перевод:

«Наша участь решена, нас ссылают, ссылают навечно! Куда, право, не знаю! Ведь карта для нас такая страшная контрабанда, что при одном слове моем о том, что я хотела бы взглянуть на карту, Власьев зажал уши. Да и не все ли равно?..

Пишу к вам наскоро, мой дорогой, бесценный друг, опираясь на обещание Феклы, что она доставит это письмо непременно вам в руки; хочу вам сказать... Но прежде я должна поблагодарить вас за вашу заботу о моем удобстве и спокойствии. Знаете, ваше внимание в минуты моего несчастья давало мне столько отрады, что, право, не знаю, захотела ли бы я променять свое несчастное положение на то, чтобы лишиться этой отрады!

Но теперь все решено. Мне жаль отца, который все же заботился обо мне. Теперь моя очередь заботиться о нем. Постараюсь, сколько хватит моих сил, их успокаивать и утешать. Посвящу на то пока жизнь мою.

Вы, может быть, скажете, мой дорогой, незабвенный друг, что мои слова идут в противоречие тому, что я обещала вам. Вы скажете, что я отдаю им то, что мне не принадлежит, – отдаю себя. На это я позволю себе возразить.

Ни на одну минуту я не думаю, что могу, хотя бы мысленно, отменить что-либо, на что предоставила вам право рассчитывать. Напротив, ваша нежная обо мне заботливость делает меня вашей вечной должницей. Я душою, мыслью, всем сердцем невольно обращаюсь к тому вашему слову, которое было моим счастьем. Но мое положение в такой степени изменилось известными вам событиями, что я не считаю себя вправе признавать обязанностью для других в рассуждении меня то, что было принимаемо ими хотя и добровольно, но совершенно при других условиях. Теперь я бедная пленница, приговоренная к вечному заточению. Могу ли я рассчитывать на то, что относилось к принцессе курляндской и семигальской. Притом обязанность, о которой до того я не имела даже повода думать, заставляет меня сохранить мои отношения к воспитывавшему меня семейству. Бросить его теперь, в самую минуту падения, для меня невозможно. Если бы я это сделала, я бы презирала себя. Я должна посвятить себя им, по крайней мере, до тех пор, пока страшный перелом их жизни представляет жгучую, острую боль сердца, то есть пока этот перелом от времени не перейдет хотя в горькое, но спокойное воспоминание. Потом, я была здорова, а теперь буду ли я здорова когда-нибудь, знает один Бог.

Среди этих колебаний я решилась, не отказываясь сама ни от чего, что ставит меня в какую-либо зависимость, освободить других от всякой их зависимости от меня.

Последнее относится преимущественно к вам, мой дорогой, бесценный друг! Вы были один, зависимость от которого была мне отрадна. Веря вполне вашим словам, я считала себя счастливой, что могла обещать отдать вам всю жизнь мою, всю себя. Знать, что вы мой, а я ваша, было для меня такой радостью, перед которой бледнеют все мои несчастья. Но, ввиду изменения моего положения и здоровья, я признала себя обязанной сказать вам, что свято и с сердечной искренностью я сохраню вам все, что обещала, но предоставляю вам полную свободу забыть, что вы обещали мне. Я ваша всем сердцем, всею душой, всем существом моим до тех пор, пока словом или делом вы не покажете мне, что я вам не нужна, что я для вас чужая и что вы для меня чужой... От вас же я не требую ничего. Возвращаю вам все слова, все обещания ваши, предоставляю полную свободу вашему чувству в будущем... Об одном прошу: вспоминайте иногда беспредельную мою благодарность за вашу заботу, попечения и помощь, оказанные в минуты несчастья от всего сердца преданной

*Гедвиге Елизавете.*

Еще прошу наградить чем можно женщину, которая ходила за мной. Она так усердно заботилась обо мне от вашего имени, так берегла меня, наконец, с столь многими предметами познакомила меня из русской жизни, о чем я не имела даже понятия, — между прочим, и с знаменитостью вашего славного рода князей Зацепиных, — что я считаю себя очень и очень ей обязанною, и я весьма бы желала доказать ей мою благодарность; но у бедной пленницы нет ничего, поэтому я поневоле должна прибегать к посторонней помощи».

«Так вот чем кончился суд! Вот чем кончилась та блестящая карьера, которая полухлятича-проходимца возвела на ступень владетельного герцога, самодержавно управлявшего обширной империей! — раздумывал князь Андрей Васильевич. — Вот чем кончился и мой роман! Само собой разумеется, что Гедвиги я забыть не могу. Воспоминание о ней я сохраню целую мою жизнь. Я не могу забыть тех светлых и отрадных минут, когда она мне сказала, что мои чувства к ней встречают ответ в ее чувстве, что ни в ком она не надеется встретить такую опору своей жизни, какую видит во мне! Никогда не забуду, как она, милый ребенок, с слезинками на глазах, склонила свою головку на мою грудь и прошептала: «Не разлюбите меня, а я... я ваша, я никогда не разлюблю!» Это были минуты незабываемой радости, минуты, от которых и теперь разливается отрадное ощущение... Но вопрос не о любви! Я чувствую, что я люблю ее, что она мне дорога, как моя радость, как угаснувшая надежда... Но дело не в том, что мне дорого, что я люблю. Вопрос в возвышении и укреплении рода князей Зацепиных, в предоставлении ему политического положения, а для этого соединение с дочерью павшего



временщика – вещь немыслимая. Только восходящее солнце дает надежду на светлый день, заходящее же может оставить только воспоминание. Но писать ей это, сказать – я не могу, я не в силах, – я еще слишком люблю ее!.. – И он снова начинал ходить, потом снова задумывался и снова читал. – Она нездорова, страдает... Бог знает чего бы я не дал, чтобы иметь право беречь ее теперь, ухаживать за ней! Но обязанность, долг, зависимость от отношений – все это должно быть выше желаний, выше чувства. Суд над ними, – но ведь это комедия!»

И действительно, суд над Бироном был комедия, повторение той самой комедии, которая столь недавно, по его приказу, была выполнена в суде над Волынским. Председателем был тот же генерал-аншеф Григорий Петрович Чернышев, а в числе членов были те же Хрушов и Новосильцев, которые умели подобрать столько вин бедному Артемию Петровичу и его друзьям, в том числе и другому Хрушову, которого прихватили так, для компании. К этим нелюбимым судьям присоединили еще Яковлева, того самого Яковлева, который по приказу Бирона вместе с Граматиным и Семеновым был арестован за распространение слухов о подложности акта, назначавшего Бирона регентом, и экзаменован вместе с ними в Тайной канцелярии самим Ушаковым, да так экзаменован, что, как выразился Семенов, рука-то как плеть висит. К этим беспристрастным судьям присоединили еще Лопухина, личного врага Бирона, да еще двух-трех из оскорбленных Бироном лиц. Остерман и Миних умели выбирать судей, умели и вины подбирать, не отстал от них в этом отношении и князь Черкасский, который перед тем только выдал Бирону Пустошкина, когда тот от имени офицеров своего полка сказал ему, что назначение регентом Бирона обидно для России, а теперь указывал для того же Бирона Пелым.

В чем же можно было обвинять Бирона за его трехнедельное управление, потому что все действия Бирона, до того как он стал регентом, прикрывались высочайшими повелениями и исходили не от него, а от министерства? Нашли, в чем обвинять! Первое обвинение было в том, что он исходатайствовал у покойной императрицы акт о регентстве.

Но в этом главнейше виноват Миних. Его слово было первое перед покойной государыней. Он первый сказал, будто общее желание всех видеть Бирона в челе управления. Виноват еще князь Черкасский, он первый подал мысль о регентстве; виноваты Куракин, Левенвольд, Трубецкой, которые его убеждали; виноват Бестужев – ну да он арестован вместе с Бироном, а все другие правительствуют, занимая высшие государственные должности. Бирон только согласился, уступая общему настоянию, согласился потому, что все уверяли его, что это необходимо для блага империи, для охраны младенца-государя.

Вторая вина: не заботился о здоровье покойной государыни!

Как же не заботился? Да это значило бы, что он не заботился о себе! «По рабской моей обязанности, – писал Бирон, – я всегда первейшее попечение имел о неоцененнейшем здравии ее величества и выписал для консультации знаменитого португальца, а равно и с своими докторами постоянно беседу имел о ее болезни, сколько мог это слышать и знать из слов самой государыни. Но само собой разумеется, что я не доктор и не мог принимать каких-либо особых мер, особенно когда государыня болезнь свою скрывала».

Третья вина: не заботился об императоре, угрожал его родителям, принцу и принцессе, и многих знатных особ лютым мукам предал и чести лишил.

«Не только об императоре не заботился, но прилагал всевозможное попечение. Если и виноват я перед родителями государя, – объяснял Бирон, – то только вследствие постоянной и чрезвычайной моей ревности и заботливости о здравии и безопасности государя императора. Потому-то я и приказал строго экзаменовать Ханыкова и других, я полагал, что затеи их касаются не одного только меня и моего регентства, но касаются самого императора, то есть клонятся не только к перемене управляющего государством лица, но к перемене самой династии. Я не мог равнодушно переносить, видя, как неопытностью принца и принцессы пользуются те, которые хотят насытость свою насытить».

Предъявляя эти оправдания, Бирон надеялся, что в комиссии хотя один голос будет за него. Он надеялся на Новосильцева, которого все признавали его ближайшим клеветником. Действительно, с самого прибытия своего из Курляндии он постоянно благодетельствовал Новосильцеву, выводя его в люди, выпрашивая места и назначения и вообще помогая чем только мог. Но первое слово Новосильцева было: за злодеяния Бирона ему простой смертной казни мало, четвертовать его нужно, живого сжечь, и этого мало: с живого кожу содрать. И неизвестно, на чем бы остановилось его разыгравшееся воображение в приискивании разных казней, если бы не перебил его председатель Григорий Петрович Чернышев.

– Ну чего еще тут придумывать! Четвертовать так четвертовать – так, что ли?

Все согласились и составили приговор.

Анна Леопольдовна, как было заранее предreshено, по своему неизмеримому милосердию, от смертной казни его помиловала, а по совету князя Черкасского определила сослать Бирона со всем его семейством на вечное поселение в Пелым, а его братьев и зятя, Бисмарка, его первейшего адгерента, развести по разным городам Сибири.

Фекла Яковлевна на словах передала Андрею Васильевичу, что Гедвига не смела написать, но что она очень, очень бы желала с ним проститься. И он бы очень хотел, но как? Если ехать, то нужно сейчас, ведь их рано вывозят, а до Шлиссельбурга все же шестьдесят верст! В это время ему доложили, что из дворца уж третий раз присылают узнать, где он? Великая княгиня беспокоится. Притом если он поедет в Шлиссельбург проститься с павшим семейством, то сейчас дадут знать и взглянут на это подозрительно, очень подозрительно. «Нет, – подумал он, – как бы ни хотелось, но... ограничусь слезным письмом... и не сегодня, – нет, а pošлю нарочного догнать на дороге; а теперь, теперь – скорей во дворец; нужно не упускать свой случай!» И через пять минут он уже был на собственной половине правительницы.

Придворные заметили, что Анна Леопольдовна заметно повеселела.

– Что так поздно? Я беспокоилась, здоровы ли вы? – спросила принцесса.

– Прошу великодушного прощения, всемилостивейшая повелительница. Пришли письма из деревни, нужно было распорядиться.

Анна Леопольдовна, не любившая больших собраний и по чрезвычайной лености и распущенности не любившая одеваться, даже до того, что выходила иногда к обеду в капоте и накинутом на голову платке, проводила время с удовольствием только в своем интимном кружке избранных, который весьма ревниво оберегала от посторонних вторжений; зато она любила, чтобы этот кружок не манкировал посещать ее. Некоторое сходство с графом Линаром, занимавшим ее воображение, когда ей было четырнадцать лет, молодость и до некоторой степени усвоенная у дяди, под руководством м-м Леклер, любезность открыли доступ в этот кружок князю Андрею Васильевичу, и он старался этим воспользоваться.

Не чувствуя ровно ничего к принцессе, он старался вызвать к себе ее симпатию своей веселостью, задухновенностью и какой-то особой распущенностью, которая тогда начинала входить в моду среди высшей сферы представителей русского петиметрства.

Молодая женщина очень рада была слушать веселую болтовню молодого человека, которого находила интересным и Юлиана и которого любят и хвалят все. «Ведь когда-нибудь и отдохнуть можно, развлечься», – говорила себе Анна Леопольдовна, не замечая, что привычка видеть молодого князя, слушать его и смеяться с ним вкоренялась в нее глубже и глубже и что, когда его нет, ей уже начинало чего-то не доставать.

– Он меня смешит – и только; а то все дела да дела! И так этот противный фельдмаршал пристаёт беспрерывно с делами!

А Андрей Васильевич в это время думал:

«Она не императрица, но правительница на шестнадцать с лишком лет. Это много значит. Притом она и императрицей может себя объявить, прямо как наследница своей тетки, самодержавная правительница и мать императора. Мало ли было исторических примеров сов-

местного царствования, – а тут мать и сын, это так естественно, особенно когда сын младенец. Вот и политическое положение рода князей Зацепиных. Этим стоит заняться. Жаль Гедвиги, но делать нечего».

Думая это, он начал говорить любезности Юлиане Менгден, которая принимала их со смехом, напоминая ржание лошади, и говорила обо всем не иначе как династическим «мы», подразумевая в этом «мы» себя и принцессу-правительницу.

– Нет, нам фельдмаршал надоед как горькая редька! Да он и принца обижает! А мы не хотим принца обижать! Мы хотим только, чтобы он не мешал нам! Пускай он забавляется там своими караулами да ученьями, – играет в солдатики, а о нас не думает! Мы будем и без него управлять.

– Фельдмаршал – человек опытный.

– Да! Но что же делать, когда он нам все поперек дороги идет? Анюта мне подарила бироновские кафтаны, его самого и принца Петра. Мы от скуки велели принести жаровню, взяли два кафтана и стали выжигать; на ту пору войди Миних да и говорит: «Э, матушка, ваше высочество, хочется же вам дымом и копотью себе глазки портить, и выжиги-то на три гроша. Вы бы лучше положение о запасных артиллерийских парках пробежать и утвердить изволили». После обратился ко мне и прибавил: «И не стыдно вам самодержавную нашу повелительницу грошовым делом занимать». Так не грошовым же! Из выжиги-то я четыре больших шандала да полдюжины ложек сделала!

В это время к ним подошла принцесса.

– Вы, князь, не сели ни в вист, ни в ломбер? – спросила она, усаживаясь на диван и показывая Андрею Васильевичу место подле себя на кресле. Менгден заняла место на стуле позади ручки дивана и очутилась, таким образом, между ними.

– Нет, ваше высочество, – отвечал Зацепин, садясь. – Если, принимаясь за игру, я могу доставить себе удовольствие играть с повелительницей сердец наших, то... Играть же для игры или для выигрыша я считаю напрасной тратой времени.

– Э, князь! Можно играть от нечего делать, от скуки! Да и мало ли на что мы тратим время? Вот фельдмаршал говорит, что я напрасно трачу время, когда читаю. Он говорит, что читать можно только полезное; а полезное, по его мнению: инженерные исчисления да какие-нибудь положения об устройстве казарм или запасных артиллерийских парков. «Вот, – говорит, – и я вчера целый день читал: утром «Положение о военных госпиталях», а вечером – «Походы Тюренья»! Читать же романы да сказочки, стихи да мадригалы... право, принцесса, – значит только время губить!» Думаете ли и вы, князь, что я напрасно трачу время, когда читаю романы? Признаюсь, что чтение приносит мне удовольствия более, чем самые великолепные праздники, на которых я чувствую только усталость и от которых на другой день болит голова.

– Нет, принцесса, чтение я не считаю тратой времени. Я полагаю даже, что оно необходимо, как гимнастика ума.

– Ах, боже мой! Эти мужчины для меня невыносимы, в том числе и вы, лучший из них. Все у вас ум, ум и ум! Нужно же отвести какой-нибудь уголок чувству.

– Чувство, ваше высочество, это такой нежный предмет, о котором мы не смеем говорить в присутствии тех, кто его вызывает. Вы изволите знать, ваше высочество, что ведь оно не подчиняется законам разума, а является неожиданно и большей частью там, где его не должно быть! Я одинаково могу влюбиться и в пастушку, и в королеву. А согласитесь, что ни того ни другого нежелательно бы испытать, так как в том и другом случае мое чувство будет только страдание.

– А вы не думаете о том, какое страдание может испытывать королева, особенно если она не любит своего короля? На прошлой неделе я читала одну немецкую книгу, забыла заглавие, да это все равно! Там рыцарь спешит освободить даму своего сердца из рук ее соперницы и злейшего врага и вдруг влюбляется в этого врага, соперницу и мучительницу дамы

его сердца. Можете себе представить, какой из этого выходит сумбур. Если он освободит ту, которую любит, то погубит ту, в которую влюбился; если же захочет сохранить ту, в которую влюбился, то должен оставить на гибель ту, которую любит. Мужчины все такие гадкие! Они способны раздваиваться даже в своем чувстве.

– Вы думаете это о всех мужчинах, принцесса? – спросил князь Андрей Васильевич, останавливая на ней свой пристальный взгляд, а сам вспомнил Гедвигу и подумал: «Не права ли она, если в ее рассказе есть намек? Впрочем, нет, не права, потому что тут никакого чувства нет, а просто меркантильный расчет разумности». И он повторил свой вопрос.

Анна Леопольдовна не выдержала его упорного взгляда, потупилась и проговорила тихо:

– Нет, о вас я этого не думаю.

– О вас мы так не думаем! – заговорила Менгден, вторя принцессе и, видимо, желая ее поддержать. – Мы думаем, что вы молодой человек с душой и сердцем и что если вас удостоит своего взгляда королева, то вы примете этот взгляд как милость судьбы.

– Такой взгляд был бы не только милостью судьбы, но залогом моего счастья! Я, разумеется, молод, но ведь, согласитесь, что только молодость и сохраняет тот пыл чувства, то страстное томление, которое боготворит ту, к которой относится, будет ли она пастушка или... королева.

Последнее слово Андрей Васильевич сопровождал тем многозначительным взглядом, который заставил Анну Леопольдовну понять, что и к королеве можно относиться как к женщине. Губки ее немножко дрогнули, она покраснела и не нашлась что сказать. За нее отвечала Менгден:

– И королева примет ваше скромное обожание и наградит вас всем, чем может наградить женщина и королева, с тем, разумеется, что вы будете скромны и благоразумны.

Анна Леопольдовна, как бы в подтверждение ответа своей наперсницы, безмолвно подала ему свою руку.

Андрею Васильевичу в глубине души было смешно. Он подумал: «Вот хорошо! Любовное объяснение втроем. Случалось ли это какому-либо донжуану в мире?» Но, взяв в свою руку ручку правительницы, он почувствовал, что она дрожала. Он держал ее несколько секунд в своей руке, потом, пользуясь тем, что играющие на другом конце комнаты сосредоточили на игре все свое внимание, тихо поднес ее ручку к своим губам и горячо ее поцеловал.

При этом он заметил, что два тоненьких пальчика правительницы, большой и указательный, легонько сжимаются и что правительница как бы склоняется к нему и хочет ему что-то сказать.

Но в это время дверь из приемной залы с шумом растворилась, и в дверях показалась раззолоченная фигура камер-фурьера, который, почтительно поклонившись правительнице, доложил:

– Его сиятельство граф Андрей Иванович Остерман просит милостивого дозволения вашего высочества беспокоить вас на несколько минут.

Андрей Васильевич, разумеется, должен был отпустить руку принцессы, которая взглянула с изумлением на Менгден, в то время как та в свою очередь бросила изумленный взгляд на правительницу.

Оба эти взаимных взгляда можно было перевести так: наперсница спросила у правительницы: «Зачем еще этот?» Правительница отвечала: «Я его не звала и не хотела, верно, что-нибудь особое».

– Зови! – сказала она камер-фурьеру и, наклонившись к Андрею Васильевичу, прошептала ему: – Завтра приезжайте пораньше, я играть не сяду.

Камер-фурьер исчез.

В комнату вошел граф Андрей Иванович Остерман.

Толстоватый и неуклюжий, одетый в коричневый шелковый кафтан с редкими петлицами, обшитыми золотом, в измятые брабантские кружева около шеи и рук и большие бархатные сапоги, Андрей Иванович тихо продвигался на своих подагристых ногах, оглядывая присутствующих с улыбкою, в которой можно было заметить легкий оттенок торжества. Он как бы говорил: «Вот и я здесь, и буду приятным гостем, хотя вы все настойчиво желали меня сюда не допускать».

Он подошел к правительнице, в то время как Андрей Васильевич, польщенный в своем самолюбии и убаюкиваемый надеждой на завтра, старался настолько отдалиться от принцессы, чтобы не представиться всепроницающему оракулу слишком интимным собеседником.

– Простите, всемилостивейшая наша повелительница, что осмелился нарушить установленный этикет и явиться незванным-непрошеным... – начал Остерман.

– Что такое? – перебила правительница.

– Важное и спешное обстоятельство, касающееся службы его величеству и нашей августейшей покровительнице, вынудило меня скорее сделаться преступником, чем упустить конъюнктуры, которые не иначе как к пользе особы вашего высочества направлены быть могут.

– В чем дело, граф? Я всегда рада видеть вас! – отвечала правительница.

– Дело в том, всемилостивейшая государыня, что его величество польский и саксонский король, узнав о благополучном принятии вашим высочеством в свои руки верховного управления, прислал чрезвычайного посланника поздравить ваше высочество и вашего супруга, принца, с счастливым событием, и этот посланник, конфиденциально явившись ко мне, просит, предварительно официального представления и принесения поздравления, исходатайствовать ему у вашего высочества частную, сепаратную аудиенцию для представления вашему высочеству особо секретных меморий.

Правительница все это время стояла, не приглашая графа сесть, поэтому, разумеется, стояли как граф, которому это было довольно трудно по его больным ногам, так и баронесса Менгден, и князь Андрей Васильевич.

– Очень рада видеть посланника польско-саксонского короля и с удовольствием примем его меморий, – хмуро отвечала Анна Леопольдовна. – Привезите его хоть завтра утром! Кто же этот чрезвычайный посол польского короля?

– Он льстит себя надеждой, что не совершенно изгладился из памяти вашего высочества. Это граф Линар!

– Граф? – вскрикнула правительница.

– Граф Линар? – вскрикнула Юлиана Менгден.

Андрей Васильевич заметил, что правительница разом побледнела, почти машинально опустилась на диван и замолчала. Граф Остерман, который с трудом стоял, тяжело переступая с ноги на ногу, оперся на спинку кресла, на котором перед тем сидел Андрей Васильевич.

– Так это граф? – повторила правительница, стараясь удержать свое волнение. – Это граф?.. Боже мой!.. Что же вы не займете место, Андрей Иванович? Садитесь! Вы его видели?

– Кого? Графа Линара? Как же, ваше высочество, и только по его настоянию о крайней спешности дела я позволил себе беспокоить не в указанное время...

– Очень благодарна вам, Андрей Иванович, и всегда прошу, когда вы свободны от ваших трудов... Привезите его завтра. О! Я его хочу видеть!..

А Менгден в это время ей что-то шептала на ухо. Правительница улыбнулась.

– Непременно завтра утром, я сделаю распоряжение! Много новостей привез вам граф? – спросила правительница, овладевая собой.

Граф Андрей Иванович откашлялся и повел свою беседу как мешковатый, неуклюжий, но умный придворный, который хорошо понимает свое настоящее положение и значение.

Андрей Васильевич понял, что Остерман выписал ему опасного соперника, что он повторяет ту же историю, которая так удачно разыгралась в его пользу с покойной Екатериною

и Левенвольдом. Ему не удалась интрига, которую он вел против Бирона в пользу принца Антона, во время регентства которого Остерман бы царствовал. Миних предупредил его. И вот ему понадобился граф Линар, чтобы через него также царствовать и при регентстве Анны Леопольдовны. Иначе разве мог бы саксонский двор прислать послом человека, отозванного отсюда по требованию нашего двора...

«Это, ясно, дело Остермана! – сказал себе Андрей Васильевич. Но как молодой человек, избалованный успехами, он самонадеянно прибавил: – Увидим, как еще удастся... завтра не за горами!»

## IV Отъезд

На другой день происходила конфиденциально сепаратная аудиенция чрезвычайного польско-саксонского посланника. Граф Линар приехал с Остерманом. Их встретила Менгден, приветливо протянула графу Линару руку и проводила к правительнице. После первых официальных приветствий Остерман как-то стушевался, рассматривая картины, украшавшие стены приемной правительницы. Они остались вдвоем.

– Наш гость, всегда приятный! – сказала Менгден. – Что ж вы не целуете у Анюты руку? Разве не наскучили вам еще церемонные приветствия да книксены, которыми вы угощаете друг друга?

– Прежде я должен спросить, будет ли дозволено мне обратиться к прекрасной царевне с моей прежней искренностью и преданностью? – спросил Линар, стараясь придать своему голосу и взгляду выражение покорной кротости.

– Разумеется! Разумеется! – отвечала за правительницу Менгден. – Только она уже не царевна, а великая княгиня и мать императора. Откуда вы приехали, что этого не знаете?

И Юлиана засмеялась своим лошадиным хохотом.

– Вы шутите! – отвечал Линар. – Но я, бедный изгнанник, воспоминание о царевне берегу как святыню, и для меня будет высшим счастьем найти в государыне великой нации ту же царевну, почтительное обожание которой было причиной моего несчастья и ostracизма.

– А разве мы вас не вспоминали? Полноте, граф! – решила наконец сказать Анна Леопольдовна. – Если бы вы знали, что перенесла я во время этого, как вы называете, вашего ostracизма! – И она протянула руку, которую тот страстно поцеловал.

– Боже мой, сколько лет прошло с тех пор, как мне мадам Адеркас сказала, что вы позволите мне поцеловать вашу ручку...

– Да! И как я страдала... – заметила Анна Леопольдовна.

– Сколько лет? Я вам скажу, – проговорила шутливо Менгден. – Пять лет, восемь месяцев, шестнадцать дней...

– Вы тогда совсем еще дитя были! – сказал Линар.

– Не говорите! Мне тогда только месяца или двух не хватало до пятнадцати!

– И как это хорошо было, помнишь, Анюта, – заговорила опять Менгден, – мне тоже было четырнадцать с чем-то лет. Но я уже понимала вещи, как они есть. Меня поставили на часах; на случай, если бы тетюшка или герцог в большую залу идти вздумали, я должна была каркнуть. Помню, как я училась каркать. Мы где-то читали, что итальянские разбойники всегда каркают на часах, когда увидят сбиров. Вот я стою и смотрю. Граф внизу за трельяж спрятался и за эту статую, как ее, – которую змеи-то с детьми вместе обвивают. Анюта вошла вместе с Адеркас. Адеркас пошла к императрице и будто не видит, а Анюта вошла на эстраду да сверху из-за трельяжа и протянула свою ручку. А вы ее начали целовать. Как мне завидно тогда было! Все было точь-в-точь, как в романах пишут.

– Отрадное воспоминание, – сказал граф Линар. – А помнит ли всемилостивейшая государыня правительница те слова, которые сказала тогда мне царевна и которые мне даже теперь слышатся голосом ангела?

– Я ничего не забываю, граф, – задумчиво отвечала Анна Леопольдовна. – Я сказала: «Вечно и всегда!...»

Вечером князь Андрей Васильевич занялся своим туалетом весьма тщательно. Он помнил, что правительница назначила ему: «Завтра пораньше». Он надеялся услышать что-нибудь, что даст основание его честолюбивой мечте. «Я не о себе думаю! – говорил он. – Но не могут, не должны князья Зацепины стоять в ряду каких-то провинциальных бар, которые если и не боятся капитан-исправника, то потому только, что они ему хорошо платят...»

На основании этого рассуждения он решился употребить все возможное, чтобы быть изящнее, красивее, лучше. Он знал, что Анна Леопольдовна, сама не любившая одеваться даже до неприличия, очень любила нарядных и красивых кавалеров и на его костюме нередко останавливала особое внимание.

Поэтому он надел свой, только что сделанный, светло-голубой, шитый серебром, с золотыми петлицами и крупными алмазными пуговицами кафтан и белый, обшитый самыми тонкими и дорогими венецианскими кружевами и также шитый золотом, с пуговицами из сапфиров самой чистой воды камзол; кружевной воротник его рубашки и манжеты, так же как и телесного цвета шелковые чулки и лакированные башмаки, застегивались и стягивались аграфами и пряжками, в которых светились редкой игры опалы, осыпанные мелкими бриллиантами. Сверх того, он надел еще на плечо аксельбант цвета правительницы, украшенный бриллиантовыми эгвильетами, наподобие знаменитых эгвильетов герцога Букингема, любимого героя дам тогдашнего общества, анекдоты о роскоши которого, о его победах и элегантности вызывали тогда особое сочувствие среди русских петиметров и их очаровательниц. Андрей Васильевич имел полное право думать, что роскошный костюм его по своему богатству не уступал самым великолепным костюмам Букингема.

Если к этому прибавить еще, что легко напудренный, маленький парик красиво оттенял его свежий и молодой цвет лица, тонкие, темные, союзные брови и выразительные глаза; что маленькая треуголочка с плюмажем и бриллиантовой кокардой и игрушка-шпага, осыпанная рубинами и бриллиантами, дополняли с полным эффектом этот и без того эффектный костюм, если и оглянуть все это с точки зрения версальского петиметра, который с первого взгляда заметил бы и оценил приобретенные Андреем Васильевичем изящество манер, ловкость, грацию и сдержанность, – то нельзя было не признать, что с внешней, по крайней мере, стороны Андрей Васильевич был безукоризнен.

Осмотрев себя со всех сторон в тройное трюмо, Андрей Васильевич остался доволен. Он поехал в Зимний дворец, вспоминая, с каким выразительным взглядом встречала его всегда не приглашенная и не причесанная Анна Леопольдовна и с каким любопытством оглядывала каждую мелочь его одежды. Он думал: «Верно, она встретит меня одна с Менгден. Теперь играющим еще рано собраться. Хотя она будет смотреть немножко хмуро, такой уже у нее взгляд, но с видимым наслаждением. А Менгден будет болтать, но болтать, как было до сих пор, в его руку. Потом Анна Леопольдовна протянет ему свою ручку, которую он почтительно поцелует. Может быть, она, как это было вчера, – с краской удовольствия на лице вспоминает Андрей Васильевич, – пожмет мне при этом руку своими двумя пальчиками, вот здесь, в этом месте (Андрей Васильевич поцеловал то место своей руки, которое, чувствовал он вчера, сжималось нежными пальчиками правительницы), и тогда, может быть, скажет то, что ясно хотела сказать вчера. А ведь она миленькая, какая она стройная! Я не видал даже девушки с столь тонкой и стройной талией. Очень жаль только, что она так мало думает о себе, жаль также, что она любит хмуриться. Но если я буду на месте Бирона, то постараюсь все это изменить. Я буду сам заниматься ее костюмом, сам одевать ее, и ей не будет скучно одеваться под моим руководством. А хмурость ее заставим исчезнуть от всегдашней нежности, тонкого внимания и более или менее собственной веселости. Ведь не хмурится же она с Менгден; разумеется, не будет хмуриться и со мною, и тогда она будет прехорошенькая!.. Главное, все будет в моих руках! Я сейчас же этого оракула, эту всезнающую лисицу Остермана по шеям! Довольно ему морочить людей и своим немцам открывать дорогу. Буду на первое время просить фельдмаршала принять все на свои руки, пока сам не выучусь. Этот хоть и интриган, но, во-первых, действительно способный и полезный человек – инженер и военачальник, каких немного; а во-вторых, хоть и поддерживает немцев, но не закрывает дороги и русским. А что он сравнивал жалование русских офицеров с немцами, – этого нельзя не признать заслугой! Остерман же – это подземная крыса, это крот, ведущий теперь свою интригу, видимо, против меня, хотя всегда



был хорош с моим дядей. Нужно разбить, уничтожить все их предположения, которые могут препятствовать моему будущему. Князья Зацепины должны быть князьями Зацепиными, а не возиться в самом деле целую жизнь с мужиками. Дядя прав, когда говорил, что наше дело – правительство, двор, армия, политические отношения...»

Таким образом, племянник встал уже на точку зрения своего дяди, изящного и великолепного князя Андрея Дмитриевича, то есть на точку зрения французской аристократии, думавшей, что она создана на свет как привилегированная порода людей, созданных иначе, чем эти плебеи – народ, сотворенный для того только, чтобы служить ей и чтобы ей было кому благодетельствовать. В понятиях своих Андрей Васильевич, незаметно для него самого, отошел уже от того родового начала древних русских князей, которое держали в уме еще отец и дядя его, что они призваны княжить на земле Русской, чтобы служить русскому народу. Они говорили: «Мы имеем право получать от народа кормы и мыты, но за то обязаны оберегать землю Русскую от врагов внешних и внутренних, сохранять в ней порядок и правду, поддерживать в ней народные права и вольности». В противоречие этому переходящему из рода в род убеждению, отрицавшему даже права своего дома, в его московской ветви, самодержавствовать на Руси, Андрей Васильевич теперь начинал думать, что народ для него, а не он для народа, совершенно так же, как думали это Сен-Марсы, д'Егриньоны, Гизы и Монморанси – все те, которые получили свои права победой и кровью, а не были избраны, по соизволению Божию, волей всего народа, и как потому никогда не думали ни Ольговичи, ни Ростиславичи, ни Мономаховичи.

Легко и удобно было усвоить русской аристократии этот французский взгляд при существовании крепостного права, придуманного или, лучше сказать, заимствованного от тех же немцев, к которым русский народ относил и французов, и перенесенного на Русскую землю хотя не Рюриковичем, но с которым и Рюриковичи охотно примирились. Ни противоречия, ни борьбы не вызвало в русской аристократии новое мировоззрение, столь противоположное вековым преданиям русской жизни, столь противоречащее основным началам их родового права. Понятно, оно так приятно было для аристократии по самой сущности, так льстило ее самолюбию, «дескать, мы сделаны из фарфора, а те из простой глины, какое же тут может быть сравнение», что говорить о ее противодействии новому наставлению было немислимо.

Андрей Васильевич был последним из русских князей, ставших на эту точку мировоззрения. Прошел с небольшим только один год после того, как он горячо отстаивал мысли своего отца, что кто хочет пользоваться правом, принимай на себя и обязанности, а он уже думал, что он может осчастливить одним своим именем; что ему, как князю Рюриковичу, должно быть открыто все и что его предназначение управлять, тогда как другие созданы, чтобы ему повиноваться; что это есть высшая небесная воля, закон природы, закон существования. Отсюда вывод естественный: он, избранный судьбы, должен быть представителем всего изящного и высокого, стало быть, должен быть поклонником наслаждения, как его дядя Андрей Дмитриевич. Разумеется, в этом мнении своем он не дошел еще до крайних пределов такого мировоззрения: впрочем, вероятно, только по недавнему усвоению тех космополитических идей, которые с первого раза поразили его в изящном и действительно европейски развитом его дяде. Он не обратил внимания на то, что дядя его все свое знание, всю свою развитость, все свое изящество употреблял исключительно на самоудовольствование своей особы и питание своего эгоизма – эгоизма, доходящего до самообожания, до пантеизма древних. Андрей Васильевич не стыдился еще, ради обязанности быть изящным, исключительным, говорить на своем родном языке, хотя и говорил большею частью по-французски, сперва для практики, потом по привычке и находя более удобным выражать свои мысли на выработанном языке французов, чем на тяжелом, необработанном русском жаргоне тогдашнего общества. Он не считал неприличным заслушаться русской песней, которой в детстве отдавался со всем увлечением, не находил варварством похвалить русскую кулебяку или русский квас, хотя был не прочь пить

шампанское. Но очень можно было ожидать, что если у него будут дети, то, пожалуй, они, не стыдясь, будут картавить по-русски, заявляя, что они никак не могут привыкнуть к выговору этих шипящих, варварских букв; будут приходить в ужас от русских щей и каши; назовут русскую песню, то задушевную, то лихую, удалую, горлодраньем, а русскую поэзию мужичеством и будут смотреть на русского мужика именно как на вьючную скотину, которую эти негодяи управляющие, разные Карлы Карловичи, не умеют или не хотят заставить как следует платить оброк. Удивительно ли, что они отойдут от народа настолько, что не будут понимать ни нужд его, ни желаний, как, в свою очередь, народ не будет понимать их. А при таком положении, понятно, что перемены в их взаимных отношениях, устройстве, личном составе будут для народа совершенно безразличны.

Андрей Васильевич встал уже на эту почву антирусского аристократизма; стал на ту почву феодального презрения ко всему, не имеющему феодальных прав, которые столь несообразно отождествляло любимое народом русское боярство, и дружинников древних русских князей, образовавшихся из их преемственных заслуг русскому народу, с теми подавляющими и ненавидимыми народом началами европейского феодализма, которые произошли из условий победы одной расы над другой и гнета, наложенного победителями на побежденных. Он забыл, как в русской жизни нижегородский мещанин и родовой князь Пожарский, тоже Рюрикович, дружно стали на защиту родной земли; забыл, что князь, тоже Рюрикович и первый боярин царской думы, а потом и царь, Василий Иванович Шуйский дружески относился к купцу Коневу, рассуждая о бедствиях и нуждах отечества во время первого самозванца; забыл, что самый предок предков их Ярослав Мудрый слушал советы именитого гражданина Великого Новгорода Вадима Гостомысловича!..

А становясь на такую почву отрицания преданий русской жизни и исторической преемственности русских родовых начал и начиная отвергать свою солидарность с условиями нашей народности, князь Андрей Васильевич, опять незаметно для самого себя, изменял и чувству общечеловечности. Впадая в космополитизм, он, естественно, отказывался от того, что присуще человеку как человеку. Незаметно для самого себя, каким-то неотразимым притяжением событий, он вдавался в то проходимость, от которого он вздрогнул с ужасом и омерзением, когда дядя говорил ему об отношениях Бирона и Левенвольда, рассказывая, что они милость покровительствующей им женщины разыграли между собою в карты. Вот и теперь он ехал в Зимний дворец, чтобы затмить, вытеснить соперника, и занялся исключительно своими честолюбивыми надеждами, забывая, что в то же время тихое и скромное дитя, когда-то составлявшее идеал его мечты и с такою доверчивой преданностью готовое отдать ему всю себя, – дитя, разбитое и материально и нравственно, увозилось куда-то под конвоем неумолимых тюремщиков и под гнетом не любивших ее воспитателей, которые тяжесть своих страданий грубо перекладывали на нее. Он забыл Гедвигу Бирон, не отвел ей уголка даже в мечте своей, даже в своих честолюбивых надеждах. Он даже не подумал, что вот когда я буду на месте Бирона, то облегчу ее страдания. Он вовсе не думал о ней, забыл о ее существовании. На сердечное письмо ее он не послал ни одного слова утешения. Да и когда тут было писать, среди придворной суеты, среди положения, вызывающего невольное волнение... А бедная девушка плакала, упрекая в глубине души тюремщиков и думая, что только их жестокость лишила ее утешения хотя бы в одном слове участия...

Он вошел в Зимний дворец, но его не ждали. Никто не говорил, что правительница два раза выходила и спрашивала его, что Менгден хотела посылать и прочее. Он приписал это тому обстоятельству, что приехал раньше обыкновенного, и спросил, кто у принцессы. Ему отвечали, что польско-саксонский посланник граф Линар; что он обедал сегодня у правительницы; что за обедом, кроме принца Антона и баронессы-наперсницы, никто не был; но что теперь принца Антона нет, а они сидят втроем с графом Линаром. Андрея Васильевича эти

слова передернули, но в ту же минуту он самонадеянно подумал: «Тем лучше, тем лучше, по крайней мере, встретимся лицом к лицу».

Имея право по вечерам входить к правительнице без доклада, он вошел.

Правительница и Менгден сидели на маленьком диване подле столика; напротив них сидел граф Линар и что-то читал.

Правительница сидела прямо против входных дверей и, разумеется, не могла не заметить входа Андрея Васильевича и его нежно-дипломатического, почтительного поклона, сделанного по всем правилам хореографии, как требовалось модою того времени. Но мысли Анны Леопольдовны были, видимо, слишком далеко от того, что было у нее перед глазами, и она безмолвно кивнула ему головой. Менгден тоже ограничилась только движением головы, сделав знак рукой, чтобы он не шумел.

«Эге, – подумал Андрей Васильевич, – да дело-то выходит хуже, чем я думал. Бывало, даже в пылу игры она находила возможным оторваться для милостивого и доброго слова».

Граф Линар окончил чтение, но Анна Леопольдовна не изменила своего холодного тона, хотя и пригласила его присоединиться к их кружку и представила его и графа Линара друг другу, проговорив с своим обычным, задумчивым видом:

– Граф, это один из моих молодых друзей, князь Андрей Васильевич Зацепин, потомок одного из знаменитейших родов русских, а это – посол короля польского и курфюрста саксонского граф Линар.

Они отдали взаимно друг другу церемонные поклоны и заняли места вокруг столика, причем Андрею Васильевичу досталось сидеть подле правительницы, но от этого ему лучше не было, потому что внимание Анны Леопольдовны, видимо, сосредоточилось на графе Линаре. Менгден тоже была занята исключительно им.

Он взглянул на графа Линара, и его поразила та строгая, правильная, нежная и вместе с тем мужественная красота, которой отличался граф. Очерк лица графа и тонкие черные, почти союзные брови действительно несколько походили на его собственные, как с первого взгляда заметили Менгден и правительница, но какая разница в выражении, в силе. Темно-карие глаза графа то бросали искры, то покрывались матовой нежностью под влиянием впечатлений, исходивших из предметов, которых касался разговор, или принимали глубоко спокойное выражение мысли, разума, анализа и потом опять сверкали страстью. Тонкие, черные, выющиеся кверху усы польско-саксонского гусара, представляя резкое отличие тогдашнему обычаю, оттеняли нежное, свежее лицо уже совершеннолетнего и в цвете красоты мужчины и придавали лицу его выражение мужественности, энергии, силы; улыбка, необыкновенно приятная и делающая ямочку на правой щеке, вызывая симпатию, располагала и объясняла тот необыкновенный успех, которым пользовался граф Линар в обществе.

Притом граф Линар был высок, строен, изящен и ловок до чрезвычайности. По изяществу, благородству приемов и движений в целом Петербурге он мог сравниться только с дядею Андрея Васильевича, князем Андреем Дмитриевичем, но имел, разумеется, перед ним преимущество молодости и свежести. Голос графа был мелодический, нежный и выработанный до совершенства. Андрей Васильевич не слышал, пел ли когда граф Линар, но при первых звуках его голоса он угадал, что таким образом выработать голос можно, только обучаясь пению и декламации с детства. Своим голосом он принимал и умел передавать самые тонкие оттенки мысли, вместе с тем его голос был звучен, силен, способен на все изгибы и, видимо, мог увлекать. Притом граф Линар обладал еще достоинством, весьма редким у нас даже до сих пор: умением слушать. Он не пропускал ни одного, даже самого ничтожного замечания, не выслушав его с той спокойной и приятной улыбкой, которая заставляет видеть, что ваши слова ценят, вашим мнением интересуются и хотят его усвоить. А это делало разговор графа Линара весьма приятным для всех, даже для тех, кто не мог понять ни его высокого образования, ни обширной

эрудиции и далеко не дюжинного красноречия, умеряемого светской сдержанностью и любезностью.

Разговор шел о предчувствиях. Граф Линар доказывал возможность предчувствий и их несомненную верность путем исторических примеров и аналитического рассмотрения физических условий их появления. Невозможно себе представить того фейерверка остроумия и той увлекательности, с которыми он поддерживал свои странные и парадоксальные положения, стараясь доказать, что человек может сам в себе вызвать способность предвидения и что в такой способности нет ничего сверхъестественного, но что, напротив, она имеет свою научную почву в современных открытиях. Высокая образованность графа и ловкая диалектика его в этих объяснениях, можно сказать, били ключом. Перед входом Андрея Васильевича он читал отрывки из Метастазии, где поэт говорит, что он предчувствовал появление любимой им девушки, так как в ней находилась часть его души. Эти слова поэта он применял к себе, объясняя, что в самый день своего отозвания из Петербурга по требованию покойной императрицы почти шесть лет назад он предчувствовал свое сегодняшнее свидание. Разумеется, Анна Леопольдовна должна была опустить глаза свои долу. Затем он перешел к характеру понятий о предчувствии древних, к их аллегорическим представлениям души, из свойств которой они выводили естественность предчувствия; говорил о религиях греков и римлян, о элевзинских таинствах египтян, из которых Пифагор заимствовал свое учение о переселении душ, а Платон – о их взаимном сродстве и симпатии. Все это граф пересыпал солью остроумия, множеством анекдотов и самой легкой, светской любезностью. Не заслушаться его было невозможно.

Андрей Васильевич видел, что Анна Леопольдовна и Менгден его не только заслушивались, но, можно сказать, что, слушая его, они таяли от восторга.

И он сам слушал графа с большим удовольствием, хотя многого и очень многого не понимал, тем более что Линар часто от французского языка обращался к итальянскому, читая итальянских поэтов в подлиннике, а по-итальянски Андрей Васильевич только начал учиться и весьма еще мало понимал, еще менее понимал он цитаты из Вергилия, Овидия и Плавта. Когда же Линар перешел к научным объяснениям, стал говорить о каком-то электричестве, опытах какого-то Винклера, с которым граф был знаком лично, о мнении, что электричество было известно египетским жрецам и составляло одно из таинств элевзинских верований, так как среди обрядов египетского богослужения были приемы, доказывающие знакомство жрецов с этой силой, посредством которой, по опытам Винклера, можно, пожалуй, будет разговаривать друг с другом за сотню верст, – то Андрей Васильевич почувствовал, что он не понимает ничего, не понимает даже того, о чем идет речь. Какая такая может быть сила, которая делает ничтожным пространство в сотни верст?.. Не морочит ли уж он их всех?..

Тут он понял сущность разницы между действительной образованностью и только ее внешней стороной; понял, что можно носить французский кафтан и манжеты, пить шампанское, говорить по-французски и быть в то же время не только полуобразованным, но и вовсе необразованным человеком. Например, что такое он сам, с приобретенным им лоском светскости, французским и немецким языками и убогими знаниями кое-чего из истории Франции и крестовых походов, из французской литературы, преимущественно Золотого века, то есть царствования Людовика XIV, и из кое-каких общих мест моральной философии и мифологии? Между тем образование требует знания положительного, фундаментального знания жизни и природы. А из исторической жизни он не знает почти ничего, о природе же никогда и не думал... Он видел, что и правительница, и Менгден слушают графа, как говорят, разинув рот. Но все же они могут понимать его, стало быть, по образованию настолько выше его, родового князя Зацепина, насколько знание выше невежества. Что же значит он против этого блестящего графа, блестящего не костюмом только и манерами, но умом, знанием, остроумием, – что он? Полуобразованный мальчик, и больше ничего!

Несмотря, однако ж, на то, что граф Линар решительно приковал к себе внимание как правительницы, так и Менгден, Андрей Васильевич нашел случай напомнить Анне Леопольдовне вчерашнее приказание ему явиться пораньше. Но на это Анна Леопольдовна ответила ему как-то неохотно:

– Ах да! Точно! Только извините, князь, я позабыла совсем, что вчера хотела вам сказать... – Потом, помолчав немного, она прибавила: – А не правда ли, граф Линар очень умен?

И она опять отошла слушать своего графа.

«Нет, этого мне из седла не выбить!» – подумал Андрей Васильевич. А как в это время начали уже съезжаться для игры, приехал гофмейстер правительницы Миних-сын с своей женой, родной сестрой Менгден, приехал английский посланник Финч и австрийский – маркиз де Ботта, то Андрей Васильевич счел за лучшее исчезнуть.

«Если она вспомнит обо мне, то пришлет, а нет – то насильно мил не будешь!» – думал он. Но самолюбие его сильно страдало, страдало так, что ему уже казалось, что он был страстно влюблен в правительницу и что любовь его приняла печальный исход...

«Постой, – сказал он себе, – не поеду несколько дней. Пришлют ли, заметят ли?»

И как ни скучно, как ни досадно было, но он не поехал. Но за ним не прислали и его не заметили!

Когда назначенный им себе срок прошел, он снова явился во дворец, но – увы! – только для того, чтобы убедиться, что о нем совершенно забыли. Правительница сидела за картами, когда он вошел, и сказала ему только:

– А! Это вы, князь!

Менгден, которая не была ничем занята, встретила его подобным же замечанием.

– Вот и вы, – сказала она, – а мы все это время были заняты нашим графом; не правда ли – умный и красивый господин?

– Да, нельзя не отдать ему справедливости, – скрепя сердце должен был отвечать Андрей Васильевич. – Весьма приятный собеседник!

– И как он знает все, сколько он видел, читал... Его слушаешь и не видишь, как время идет. Вчера, помните?

– Меня вчера здесь не было.

– Не было? Я и не заметила! Вчера, представьте, он рассказывал о влиянии грома на рыб. Жаль, что вас не было, вы бы послушали, это так интересно. А послезавтра у нас будет торжественная аудиенция. Анюта будет под балдахином стоять; приходите посмотреть!

Андрей Васильевич не сказал ни слова. Он уехал из дворца, не замеченный никем, как незамечен был, когда и приехал; только принц Антон подошел к нему перед отъездом и сказал:

– Что это вы нынче так бледны, князь? Я бы советовал вам приобрести гарлемских капель. Чудо как помогают от всякого расстройства.

По приезде домой Андрей Васильевич сейчас же послал доложить дяде о том, что он просит позволения его видеть. Князь Андрей Дмитриевич приказал его звать.

– Представь себе, Андрей, – сказал ему дядя, как только он к нему вошел, – я сию минуту чуть не был свидетелем страшного изуверства; могу даже сказать, что это изуверство не совершилось только благодаря моему присутствию. И главное, странно, что тут замешаны твои люди! Нужно тебе сказать, что здесь открылась весьма опасная беспоповская секта хлыстов. Эта секта не признает брака. Она доводит свое учение о равенстве прав человека до таких пределов, что ставит человека на степень животного. Они говорят, что у Бога нет ни красивых, ни безобразных, ни старых, ни молодых, ни бедных, ни богатых, – что все равны, все одинаковы, поэтому все должны пользоваться одинаковыми благами. «За что же, – говорят они, – одному достанется жена старая и безобразная, а другому – молодая и красивая? Точно так же за что одной достанется муж молодой, здоровый и красивый, а другой – ледащий, хворый и старый?»

Находятся и такие, которые целую жизнь изживут, а себе мужа не достанут, особенно бедные и некрасивые...» Поэтому они и решили между собой, что все принадлежит всем: кому когда что Бог даст. Коноводом этой секты Ермил Карпыч, помнишь, тот, у кого мы с тобой занимали деньги. Ну, он, разумеется, не из таковских, чтобы его можно было на софизмах ловить; но как тут дело оказалось неожиданно выгодным, так что самый капитал его, может быть, образовался благодаря этому сектаторству, то он и принимает в нем горячее участие. Я эту секту давно знаю; но как я не генерал-губернатор, не начальник полиции и не управляющий Тайной канцелярией, то молчу. Пользуюсь, как грешный человек, этой сектой втихомолку, когда случается там что-нибудь особое и мне по вкусу. Ну да дело не в том!

Одной из начетчиц была у них Фекла, из крепостных твоего отца, та самая, которую, помнишь, ты посылал ходить за принцессой Гедвигой, когда Бироны были уже арестованы, и которой еще, по твоему приказу, в конторе выдали двести рублей, и она до того обрадовалась, что в конторе же было запела свою раденную песню. Эта Фекла, когда еще жила с мужем в Зацепине, была в связи с твоим кучером Елпидифором, тогда почти мальчишкой. Ну связь эта, разумеется, прекратилась, когда она уехала. Только как ты с Елпидифором приехал, они встретились и сошлись. Нужно сказать, что у них правило: живи со всеми и для всех, а на сторону или по уговору с кем, хотя бы из своих, – ни-ни! Первый раз епитимью тяжкую наложат, второй раз в присутствии всех больно, чуть не до полусмерти, высекут, а на третий раз – смертная казнь. Выкупают, как есть в платье, в смоле, привяжут к столбу да и зажгут, а сами свое раденье начнут. Не то окуп за себя вноси, и большой окуп, и из их компании изгоняешься навсегда... Если же виновная, правильнее подозреваемая, не признается, то производится испытание огнем: насыплют в пригоршню горячих угольев и держи, твердя молитву: «Господи Иисусе Христе, помилуй нас», пока Ермил Карпыч не скажет «аминь». Не выдержишь, бросишь, стало быть, виновата, и дело с концом. Может быть, никто бы ничего и не знал о том, что Фекле захотелось старинку вспомнить, и, верно, никто бы не подозревал, так как она уже стара и никакого подозрения не могло быть в том, что к ней земляки и она к землякам заходит, да, дура, сама на духу Ермилу Карпычу сказала, после того как первый-то раз свиделись; думала, что выдержит. Ну на нее и наложили тяжелую епитимью, что-то двести поклонов утром да двести вечером и целую неделю в молчании на всю братию хлебы печь. Выполнила, но за ней уже наблюдать начали. После первого же раза, как твой кучер зашел к ней, ее и потребовали к исповеди. Она, вспомнив, что теперь уж не поклоны, а розги будут, да какие розги – самые изуверские, заперлась. Ну вот ей огненное испытание и предстояло...

– И Елпидифору тоже?

– Нет! Он в секту еще принят не был, клятвы не давал. Его обязали только молчать обо всем, что знает и видел, и не показываться к ним под угрозой, что будет из-за угла убит как собака.

– Так я его поскорей в деревню отправлю, попрошу другого на перемену прислать, хотя и жаль – хороший кучер! А что же Фекла? Неужели выдержала испытание?

– Что ты! В моем-то присутствии? Это была бы уголовщина, черт знает что такое! После второго раза ведь был бы третий. Нет, я таких вещей не люблю! Вот пошалить, позабавиться, стариной тряхнуть, это дело особого рода, а чтобы к уголовщине припутаться – нет! Слуга покорный! Я шепнул слово Ермилу Карпычу, а ей велел скорей признаваться да просить назначить окуп на выход. Впрочем, мне и настаивать на этом не приходилось. Как принесли жаровню, так она так испугалась, что если бы и точно ничего не было, так на себя бы налгала. Окупу назначили триста рублей. Она двести сейчас же внесла, что ты ей дал, а, делать было нечего, ста рублями я помог! Все дело тем и кончилось. Главное, чем я доволен, что, кроме Ермила Карпыча, никто не узнал, что, по своей вечной страсти к молодости, авантюрам и красоте, фигурировал в их шайке неприступный и блестящий князь Зацепин, вице-адмирал и андреевский кавалер. За одно это можно было и не сто рублей пожертвовать!

– Так что, мои денежки вместо бедной женщины к тому же богачу Ермилу Карпычу попались?

– Как быть, друг мой! Капитал – что большая река, принимает в себя все ручьи и маленькие речки!

– Да, вот тут и рассуждайте о труде! Так или иначе, а капитал все себе забирает... Дядюшка, я хотел с вами поговорить. Мне бы хотелось ехать в Париж поучиться!

– А что, разве наши честолюбивые замыслы не выгорают?

– Не то что не выгорают, они пошли было...

– Да это-то я знаю, что пошли было, но...

– Приезд этого...

– Это тебе Остерман подсахарил. Он заметил, что ты ближе к Минихам, чем к нему, и...

– А я чувствую, что в том виде, как есть, я не в силах сбить соперника с позиции. Поэтому лучше уступить и явиться в новом виде, чтобы сражаться равным оружием.

– В тебе столько практической сметки, что не могу не высказать моего одобрения. Точно, оставаясь здесь, ты можешь наделать глупостей, а уехав и возвратясь, можешь представить прелесть новизны, тогда как твой соперник, пожалуй, успеет надоесть как горькая редька. Разделяю твой взгляд, Андрей, и, знаешь, еду с тобой, чтобы, как сказал какой-то поэт, «утренней зарей молодости осветить свой вечерний закат»! Едем, друг! Я там помогу тебе, представлю кому следует, введу в общество. Хотя, разумеется, многих нет, да все же кто-нибудь и остался из моих прежних друзей!

– Я завтра же подам прошение о дозволении...

– Нам это все устроит Остерман. Он будет так рад спровадить нас обоих, что, пожалуй, сделает антраша от радости на своих пухлых ногах.

– Я надеюсь за то отблагодарить его по возвращении.

– Не загадывай, друг, так далеко вперед! В жизни пользуйся настоящим, а не напирай на будущее.

И дядя с племянником расстались до завтра.

## V Остерман

Наступило лето 1741 года. Миних в отставке хозяйничает в Гостилицах. Герцога Бирона с семейством увезли в Пелым; братьев его Густава и Карла и его главного адгерента свояка, генерала Бисмарка, по разным городам Сибири развозят; Бестужева к смертной казни приговорили было, да смиростивились, велели безвыездно жить в своих деревнях; князья Зацепины, для поправления здоровья, на бессрочное время отпущены в Париж. Остерман царствует.

Да как ему не царствовать, когда принц Антон только и свет видел, что в глазах Остермана, а правительница-принцесса, которая теперь великой княгиней себя величать велела, любит лучше романы читать, чем доклады слушать; любит лучше с наперсницей Юлианой да с красавчиком Линаром по тенистому саду гулять, чем распорядок чинить. Ну а Остерман сидит за работой, вдумывается, старается все предугадать, все предупредить.

«Вот, благодаря французскому золоту шведы войной грозят, нужно подготовиться, встретить их как следует. А тут вот еще политическая путаница. У нас с цесарским двором давний оборонительный союз заключен, конъюнктуры общие в рассуждении турок и поляков, чтобы в узде держать, им силу укреплять не давать, – рассуждает про себя Остерман. – А тут этот несытый честолюбец Миних рассердился на цесарский двор за то, что он мир с турками заключил, когда он сам только что викторией заручился и на дальнейшую славу надеялся, взяв дело в свои руки на три месяца, да и заключил такой же союз с королем прусским, и еще в такое время, когда прусский король решил на цесарский двор напасть и Шлезию завоевать. Выходит, что по договору мы обязаны помогать союзнику против своего же союзника. Допустим, что выход из такой конъюнктуры всегда есть, – союз с Пруссией оборонительный, и мы можем и той и другой стороне предлагать добрые услуги, помощи же некоторой стороне не дадим; цесарскому двору станем указывать на шведские угрозы, а прусскому королю, как чинящему нападение, мы помогать не обязаны. Но Франция под рукой нам вельми злорадствует, хотя наружно всякую дружескую апаренцию оказывает. Она желает искони враждебный ей австрийский двор в ничтожество привести, прагматическую санкцию изорвать, земли габсбургские разделить и тем самой великую силу забрать. Для того она курфюрста баварского, короля сардинского и Испанию на цесарский двор напускает и прусские притязания поддерживает. Нам допустить таких притязаний никак нельзя! Нужно клониться к тому, чтобы Австрия в союзе с Пруссией французские диспозиты опровергнула. Но как Франция была посредницей в мире нашем с Турцией и гарантировала его условия, то, ввиду шведского вооружения и желания Швеции сблизиться с Портою для общего на нас нападения, нам нужно всячески ее менажировать и до явной злобы не допускать. Тут вот и надо подумать: как бы все эти инфлуансы на сторону своих конъюнктур перевести?..

Ну да теперь все в моих руках, – думает Остерман. – Правда, в кабинете заседают еще князь Алексей Михайлович Черкасский да граф Михаил Гаврилович Головкин, но это не такого рода люди, чтобы власть забрать могли. Для первого, известно, был бы хороший повар, а там ему хоть трава не расти, только его не трогайте! Ну а Головкин не то: это человек честолюбивый, очень честолюбивый! Видите, отец-то его, граф Гаврило Иванович, в кабинете первым человеком был, так и ему хочется по отцу идти; притом он и великой княгине-правительнице сродни и по Ромодановским<sup>1</sup>. Ну да где ж ему? Человек он болезненный, мнительный, к

---

<sup>1</sup> Князь Иван Федорович Ромодановский, носивший титул князя-кесаря, сын князя-кесаря Федора Юрьевича, знаменитого сподвижника Петра и начальника Преображенского приказа, был женат на Настасье Федоровне Салтыковой, родной сестре царицы Парасковьи Федоровны, урожденной Салтыковой, бывшей замужем за царем Иваном Алексеевичем – родным дедом принцессы Анны Леопольдовны. Граф Михаил Гаврилович Головкин был женат на единственной дочери князя Ивана Федоро-



делу непривычный. Где ему работать?.. А не будет работать, не будет и управлять, всегда будет в руках работника. Все придется к Андрею Ивановичу идти. Вот интриги разные подводить, на это он мастер! Хоть бы и теперь какую штуку выдумал, да еще как хитро, первосвященного тут примешал да через Тимирязева и Менгден возьми и укажи правительнице: дескать, в манифесте о принятии правления она сравнена с Бироном, а в манифесте о престолонаследии пропущены ее дочери. Виноват, дескать, Остерман. Он в пользу принца Антона бьется, так нарочно, дескать, чтобы вызвать затруднения, пропустил. Да первый-то манифест не я и писал. Его писал Миних с своими адгерентами. Да и то: все в одну ночь сварганили, где тут в каждое слово вдуматься. Манифест о наследстве, правда, писал я, но меня тоже торопили; Бирон чуть не на шее сидел. Потом, когда я писал, так дочерей у нее не было; да в нем и ссылка на завещание императрицы Екатерины есть, а там все ясно высказано. Кажется, не о чем бы и рассуждение иметь! Я ровно не виноват ни в чем. Так нет! Все валят на меня, все я виноват, все ко мне! Ну да ничего, мы отстоимся!.. Эх, не так бы я дело повернул, если бы принц Антон был хоть немножко потолковее, а то... Ну как, кажется, не понять, что коли хочет православным царством заправлять, то и самому нужно православным сделаться. Этим он вызвал бы в русских сочувствие, стал бы им своим, и они бы стали стоять за него. Можно бы было потешить духовенство; отдать ему его имения в полное распоряжение или там что-нибудь да разослать десяток-другой тысяч по монастырям. У него образовалась бы партия, создалась бы сила. А то мямлит, мямлит; то того хочет, то другого боится, а дела нет! Не то такую штуку выкинет, что руки опустишь. Вот обрадовался, что жена Миниху отставку подписала, вздумал с барабанным боем по улицам объявлять, будто победу какую празднует. Миних справедливо обиделся. И вышел скандал, пришлось извинения просить, а потом того же Миниха бояться и прятаться, пока тот на остров не переехал и потом в свою Гостилицу не уехал; говорит: «Каналы рыл, крепости строил и брал, указы на целую империю писал, не одно ведомство устраивал и управлял, а теперь – репу сажать иду».

Рассуждая таким образом про себя, граф Андрей Иванович Остерман пересматривал проект дополнительных статей к союзному трактату с Австрией, заключаемых между цесарским и саксонским дворами и Россией, по инициативе графа Линара, но согласно мнению графа Остермана и в прямое противоречие предположениям графа Миниха, находившего более соответственным интересам России союз с прусским королем, который удерживал бы шведов в их воинственных стремлениях.

«А дорого бы, я думаю, дал фельдмаршал, чтобы изорвать все, что мы здесь пишем, и написать то же самое в пользу прусского короля, – думал Остерман. – Как уж он хлопотал, а не удалось-таки! – прибавил он с самодовольством. – Нашла коса на камень! А уж какой, кажется, орел был! Граф Линар человек светский, блестящий, – он тоже работать не будет, поэтому Андрей Иванович и ему завсегда благоугоден будет. Он очень самолюбив, ну что ж? Мы самолюбие его будем разными цацами тешить, а дело будем все в своих руках держать. Правда, до тридцать пятого года у нас с ним по политике были не совсем гладкие счета; но он дипломат, прошедшего не помнит, а смотрит на будущее. По старым делам в чем можно уступим, а теперь все же он ко мне благодарность чувствовать должен. Положим, не для него, а все же я помог. А то бы как его сюда прислать, когда он по требованию нашего двора отозван был. Мог бы великую конфузию получить. Нам требовать тоже неловко было... А входит в силу, большую силу забирает, так что, пожалуй, принца Антона и поздравить можно». И Остерман едко улыбнулся.

Рассказывают, будто пошел он гулять по Летнему саду, ну и гуляет; видит, что жена его с Менгден по дворцовому саду ходят, пошел туда, – ходит. Только ни жены, ни Менгден нет. Верно, думает, они за решетку ушли, в третий сад, что к самой румянцевской даче подходит.

Идет туда, как вдруг перед решеткой, откуда ни возьмись, двое часовых и перед ним, генералиссимусом-то, штыки скрестили.

– Вы меня не знаете? – спросил он.

– Как не знать, ваше высочество! – отвечают. – Изволите быть генералиссимусом и шефом нашего полка.

– Что ж вы?

– Не приказано пускать никого, кроме тех, о коих наказ дан!

– А меня нет в наказе?

– Никак нет, ваше высочество!

Делать было нечего, пришлось сердечному скрепя сердце похвалить часовых за исправность и поворотить оглобли. Дело в том, что из сада-то в румянцевский сад калитка проделана, а этот флигель вместе с садом граф Линар нанял.

И Остерман характерно засмеялся.

Вошел брат жены Остермана, генерал-майор Николай Иванович Стрешнев.

– А, здравствуй, брат Николай Иванович! Спасибо, что навестил. Я хотел посылать за тобой.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.